

TOPREADING.RU



ЧИТАТЬ ОНЛАЙН
БЕСПЛАТНО

"Юрий Трифонов - Обмен"

**Читайте больше БЕСПЛАТНОЙ литературы
в онлайн-библиотеке**

Topreading.ru

Трифонов Юрий

Обмен

Юрий Трифонов

Обмен

В июле мать Дмитриева Ксения Федоровна тяжело заболела, и ее отвезли в Боткинскую, где она пролежала двенадцать дней с подозрением на самое худшее. В сентябре сделали операцию, худшее подтвердилось, но Ксения Федоровна, считавшая, что у нее язвенная болезнь, почувствовала улучшение, стала вскоре ходить, и в октябре ее отправили домой, пополневшую и твердо уверенную в том, что дело идет на поправку. Вот именно тогда, когда Ксения Федоровна вернулась из больницы, жена Дмитриева затеяла обмен: решила срочно съезжаться со свекровью, жившей одиноко в хорошей, двадцатиметровой комнате на Профсоюзной улице.

Разговоры о том, чтобы соединиться с матерью, Дмитриев начинал и сам, делал это не раз. Но то было давно, во времена, когда отношения Лены с Ксенией Федоровной еще не отчеканились в формы такой окостеневшей и прочной вражды, что произошло теперь, после четырнадцати лет супружеской жизни Дмитриева. Всегда он наталкивался на твердое сопротивление Лены, и с годами идея стала являться все реже. И то лишь в минуты раздражения. Она превратилась в портативное и удобное, всегда при себе, оружие для мелких семейных стычек. Когда Дмитриеву хотелось за что-то уколоть Лену, обвинить ее в эгоизме или в черствости, он говорил: "Вот поэтому ты и с матерью моей не хочешь жить". Когда же потребность съязвить или надавить на больное возникала у Лены, она говорила: "Вот поэтому я и с матерью твоей жить не могу и никогда не стану, потому что ты -вылитая она, а с меня хватит одного тебя".

Когда-то все это дергало, мучило Дмитриева. Из-за матери у него бывали жестокие перепалки с женой, он доходил до дикого озлобления из-за какого-нибудь ехидного словца, сказанного Леной; из-за жены пускался в тягостные "выяснения отношений" с матерью, после чего мать не разговаривала с ним по нескольку дней. Он упрямо пытался сводить, мирить, селил вместе на даче, однажды купил обеим путевки на Рижское взморье, но ничего путного из всего этого не выходило. Какая-то преграда стояла между двумя женщинами, и преодолеть ее они не могли. Почему так было, он не понимал, хотя раньше задумывался часто. Почему две интеллигентные, всеми уважаемые женщины -- Ксения Федоровна работала старшим библиографом одной крупной академической библиотеки, а Лена занималась переводами английских технических текстов и, как говорили, была отличной переводчицей, даже участвовала в составлении какого-то специального учебника по переводу, -- почему две хорошие женщины, горячо любившие Дмитриева, тоже хорошего человека, и его дочь Наташку, упорно лелеяли в себе твердевшую с годами взаимную неприязнь?

Мучился, изумлялся, ломал себе голову, но потом привык. Привык оттого, что увидел, что то же -- у всех, и все -привыкли. И успокоился на той истине, что нет в жизни ничего более мудрого и ценного, чем покой, и его-то нужно беречь изо всех сил. Поэтому, когда Лена вдруг заговорила об обмене с Маркушевичами -- поздним вечером, давно отужинали, Наташка спала, -- Дмитриев испугался. Кто такие Маркушевичи? Откуда она их взяла? Двухкомнатная квартира на Малой Грузинской. Он понял тайную и простую мысль Лены, от этого понимания испуг проник в его сердце, и он побледнел, сник, не мог поднять глаз на Лену.

Так как он молчал, Лена продолжала: материнская комната на Профсоюзной им понравится

наверняка, она их устроит географически, потому что жена Маркушевича работает где-то возле Калужской заставы, а вот к их собственной комнате потребуется, наверно, доплата. Иначе не заинтересуешь. Можно, конечно, попробовать обменять их комнату на что-то более стоящее, будет тройной обмен, это не страшно. Надо действовать энергично. Каждый день что-то делать. Лучше всего найти маклера. У Люси есть знакомый маклер, старичок, очень милый. Он, правда, никому не дает своего адреса и телефона, а появляется сам как снег на голову, такой конспиратор, но у Люси он должен скоро появиться: она ему задолжала. Это закон: никогда нельзя давать им деньги вперед... Разговаривая, Лена стелила постель. Он никак не мог посмотреть ей в глаза, теперь он хотел этого, но Лена стояла к нему то боком, то спиной, когда же она повернулась и он взглянул ей прямо в глаза, близорукие, с расширенными от вечернего чтения зрачками, увидел -- решимость. Наверно, готовилась к разговору давно, может, с первого дня, как узнала о болезни матери. Тогда же ее и осенило. И пока он, подавленный ужасом, носился по врачам, звонил в больницы, устраивал, терзался,-- она обдумывала, соображала. И вот нашла каких-то Маркушевичей. Странно, он не испытывал сейчас ни гнева, ни боли. Мелькнуло только -- о беспощадности жизни. Лена тут ни при чем, она была частью этой жизни, частью беспощадности. Кроме того, можно ли сердиться на человека, лишенного, к примеру, музыкального слуха? Лену всегда отличала некоторая душевная -- нет, не глухота, чересчур сильно,-- некоторая душевная неточность, и это свойство еще обострялось, когда вступало в действие другое, сильнейшее качество Лены: умение добиваться своего.

Он зацепился за то, что было вблизи: зачем нужен маклер, если квартира на Малой Грузинской уже найдена? Маклер нужен, если придется менять их комнату. И вообще чтоб ускорить весь процесс. Она не заплатит ему ни копейки до тех пор, пока не получит ордер на руки. Стоит это не так уж дорого, рублей сто, максимум полтора. Так и есть! Его мрачность она расценила по-своему. Какая тонкая душа, какой психолог. Он сказал, что лучше бы она подождала, пока он начнет этот разговор сам, а не начнет, значит, не нужно, нельзя, не об этом сейчас надо думать.

-- Витя, я понимаю. Прости меня,-- сказала Лена с усилием.-- Но... (Он видел, что ей очень трудно, и все-таки она договорит до конца.) Во-первых, ты уже начинал этот разговор, правда же? Много раз начинал. А во-вторых, это нужно всем нам, и в первую очередь твоей маме. Витька, родной мой, я же тебя понимаю и жалею как никто, и я говорю: это нужно! Поверь...

Она обняла его. Ее руки стискивали его все сильнее. Он знал: эта внезапная любовь неподдельна. Но почувствовал раздражение и отодвинул Лену локтем.

-- Ты не должна была сейчас начинать! -- повторил он угрюмо.

-- Ну, хорошо, ну, извини меня. Но я же забочусь не о себе, правда же... -- Замолчи! -- почти крикнул он шепотом.

Лена отошла к тахте и продолжала раскладывать постель молча. Она вынула из ящика, стоявшего в головах тахты, толстую клетчатую скатерть, служившую обыкновенно подкладкой под простыню, но иногда применявшуюся и по своему прямому назначению для обеденного стола, на скатерть положила простыню, которая вздулась и легла не очень ровно, и Лена нагнулась, вытягивая вперед руки, чтобы достать до дальнего края тахты -лицо ее при этом мгновенно налилось краской, а живот низко провис и показался Дмитриеву очень большим,-- и расправила завернувшиеся углы (когда стелил Дмитриев, он никогда не расправлял углов), потом бросила на простыню, к ящику, две подушки, одна из которых была с менее свежей наволочкой, эта подушка принадлежала Дмитриеву. Вытянув из ящика и кладя на тахту два ватных одеяла, Лена сказала дрожащим голосом:

-- Ты меня как будто обвиняешь в бестактности, но, честное слово, Витя, я действительно думала обо всех нас... О будущем Наташки... -- Да как ты можешь! - Что?

-- Как ты можешь вообще говорить об этом сейчас? Как у тебя язык поворачивается? Вот что меня изумляет.-- Он чувствовал, что раздражение растет и рвется на волю.-- Ей-богу, в тебе есть какой-то душевный дефект. Какая-то недоразвитость чувств. Что-то, прости меня, недочеловеческое. Как же можно? Дело-то в том, что больна моя мать, а не твоя, правда ведь? И на твоём бы месте... -- Говори тише.

-- На твоём бы месте я никогда первый... -- Тихо! -- Она махнула рукой.

Оба прислушались. Нет, все было тихо. Дочка спала за ширмой в углу. Там же за ширмой стоял ее письменный столик, за которым вечерами она готовила уроки. Дмитриев смастерил и повесил над столиком полку для книг, провел туда электричество для настольной лампы -- сделал за ширмой особую комнатку, "одиночку", как называли ее в семье. Дмитриев и Лена спали на широкой тахте чехословацкого производства, удачно купленной три года назад и являвшейся предметом зависти знакомых. Тахта стояла у окна, ее отделял от "одиночки" дубовый, с резными украшениями буфет, доставшийся Лене в наследство от бабушки,-вещь нелепая, которую Дмитриев много раз предлагал продать, Лена тоже была не против, но возражала теща. Вера Лазаревна жила недалеко, через два дома, и приходила к Лене почти ежедневно под предлогом "помочь Наташеньке" и "облегчить Ленусе", а на самом деле с единственной целью -- беспардонно вмешиваться в чужую жизнь.

Вечерами, ложась на свое чешское ложе -- оказавшееся не очень-то прочным, вскоре оно расшаталось и скрипело при каждом движении,-- Дмитриев и Лена всегда долго прислушивались к звукам, доносившимся из "одиночки", стараясь понять, заснула дочка или нет, Дмитриев звал, проверяя, вполголоса: "Наташ! А Наташ!" Лена подходила на цыпочках и смотрела сквозь щелку в ширме. Лет шесть назад взяли няньку, она спала на раскладушке здесь же в комнате. Фандеевы, соседи, возражали против того, чтоб в коридоре. Старуха страдала бессонницей и обладала острейшим слухом, ночами напролет она что-то бормотала, кричала и прислушивалась: то мышшь скребется, то бежит таракан, то кран на кухне забыли закрутить. Когда старуха ушла, у Дмитриевых началось что-то вроде медового месяца.

-- Опять сидела с физикой до одиннадцати часов,-- сказала Лена шепотом.-- Надо брать кого-то... У Антонины Алексеевны есть хороший репетитор.

То, что Лена перевела разговор на Наташкины невзгоды и смирилась со всеми дмитриевскими оскорблениями, пропустила их мимо ушей -- что было на нее непохоже,-- означало, что она твердо хочет примириться и довести дело до конца. Но Дмитриеву еще не хотелось мириться. Наоборот, его раздраженность усиливалась оттого, что он вдруг осознал главную бестактность Лены: она заговорила так, будто все предрешено и будто ему, Дмитриеву, тоже ясно, что все предрешено, и они понимают друг друга без слов. Заговорила так, будто нет никакой надежды. Она не смела так говорить!

Объяснять все это было невозможно. Дмитриев рывком вскочил со стула, схватил пижаму и полотенце и, ни слова не говоря, почти выбежал из комнаты.

Когда через несколько минут он вернулся, постель была готова. В комнате стоял запах духов. Лена в незастегнутом халате расчесывала волосы, стоя перед зеркалом, и ее лицо выражало безучастность и даже, пожалуй, хорошо скрытую обиду. Но запах духов выдавал ее. Это был зов, приглашение к примирению. Придерживая полы халата одной рукой у подбородка, а другой -- на животе, Лена быстрым и деловым шагом, не посмотрев на Дмитриева, прошла

мимо него в коридор. Ему снова вспомнились стихи, которые он бормотал все последние дни: "О, господи, как совершенны дела твои..." Закрыв глаза, он сел на край тахты. "Думал, больной..." Просидел так несколько секунд. Он знал, что в глубине души Лена довольна, самое трудное сделано: она сказала. Теперь надо зализать ранку, впрочем, и не ранку, а небольшую царапинку, сделать которую было совершенно необходимо. Вроде внутривенного укола. Подержите ватку. Немножко больно, зато потом будет хорошо. Важно ведь, чтоб потом было хорошо. А он не закричал, не затопал ногами, просто выпалил несколько раздраженных фраз, потом ушел в ванную, помылся, почистил зубы и сейчас будет спать. Он лег на свое место к стене и повернулся лицом к обоям.

Скоро пришла Лена, щелкнула дверным замком, зашуршала халатом, зашелестела свежей ночной рубашкой, выключила свет. Как ни старалась она двигаться легко и быть как можно более невесомой, тахта под ее тяжестью затрещала, и Лена от этого треска зашептала с некоторой даже шутливостью: -- Ой, боже мой, какой кошмар... Дмитриев молчал, не двигался. Прошло немного времени, и Лена положила руку на его плечо. Это была не ласка, а дружеский жест, может быть, даже честное признание своей вины и просьба повернуться лицом. Но Дмитриев не шелухнулся. Ему хотелось сейчас же заснуть. С мстительным чувством он наслаждался тем, что погружается в неподвижность, в сон, что ему уже некогда прощать, объясняться шепотом, поворачиваться лицом, проявлять великодушие, он может лишь наказывать за бесчувственность. Рука Лены стала слегка поглаживать его плечо. Окончательная сдача! Робкими прикосновениями она жалела его, вымаливала прощение, извинялась за черствость души, которой, впрочем, можно найти оправдание, и призывала его к мудрости, к доброте, к тому, чтобы и он нашел в себе силы и пожалел ее. Но он не уступал. Что-то неостывшее в нем мешало повернуться, обнять ее правой рукой. Сквозь надвигавшуюся дремоту он видел крыльцо деревянного дома, Ксению Федоровну, стоявшую на самой верхней ступеньке крыльца и вытиравшую руки мятым вафельным полотенцем, и ее медленный взгляд прямо в глаза Дмитриеву, мимо русой головы, мимо ярко-голубого шелкового платья, и услышал глухой голос: "Сынок, ты хорошо подумал?" Глухой потому, что издали, из того ледяного майского дня, когда все были очень молодые, Валька полез купаться, Дмитриев поднимал двухпудовую гирю) Толик мчался куда-то на своем "вандерере" за вином, по дороге сломал забор, вызывали милицию, а потом на холодной верандочке, по стеклам которой шатался свет фонаря, Лена плакала, мучилась, обнимала его, шепча, что никогда, никого, на всю жизнь, это не имеет значения. Мама села утром на мотопед, повесила на руль бидончик и поехала на станцию за молоком и хлебом. Ее несчастье -- говорить сразу то, что приходит в голову. "Сынок, ты хорошо подумал?" Что могло быть бессильнее этой нелепой и жалкой фразы? Он ни о чем не мог думать. Май с ледяными ветрами, обрывавшими нежную, едва родившуюся листву, вот что было тогда, чем они дышали. Мама учила английский просто так, для себя, чтоб читать романы, а Дмитриев собирался в аспирантуру, они вместе занимались с Ириной Евгеньевной и вместе вдруг прекратили, когда появилась Лена. Концом зонтика мама стучала в стекло верандочки -- было не поздно, часов семь вечера: "Вставай, Ирина Евгеньевна ждет!" Дмитриев и Лена, притаясь под просторным ватным одеялом, делали вид, что спят. Раза два еще нерешительно стучал зонтик в окно, потом хрустели шишки под туфлями -- мама уходила в молчании. Она сама не желала больше заниматься английским и утратила интерес к детективным романам. Однажды она услышала, как Лена, смеясь, передразнивает ее произношение. Вот оттуда, с той деревенской верандочки в мелком оконном переплете, началось то, что теперь поправить нельзя.

Рука Лена проявляла настойчивость. За четырнадцать лет эта рука тоже изменилась -- она была раньше такой легкой, прохладной. Теперь же, когда рука лежала на плече Дмитриева, она давила немалой тяжестью. Дмитриев, ни слова не говоря, повернулся на левый бок, обнял Лену правой рукой, сдвинул ее ближе, сонно внушая себе, что имеет право, потому что уже

спал, видел сны и, может быть даже, все еще спит. Во всяком случае, он ничего не говорил, глаза его были закрыты, как у человека действительно спящего, и в те секунды, когда Лене очень хотелось, чтобы он ей что-нибудь сказал) он продолжал молчать. Только потом, когда он глубоко и по-настоящему заснул, часа в два ночи, он бормотал со сна какую-то невнятицу.

Дмитриеву в августе исполнилось тридцать семь. Иногда ему казалось, что еще все впереди.

Такие приступы оптимизма бывали по утрам, когда он просыпался вдруг свежим, с нечаянной бодростью -- много содействовала тому погода -- и, открыв форточку, начинал в ритме размахивать руками и сгибаться и разгибаться в поясе. Лена и Наташка вставали на четверть часа раньше. Иногда с раннего утра, чтобы проводить Наташку в школу, являлась Вера Лазаревна. Лежа с закрытыми глазами, Дмитриев слышал, как женщины шаркали, двигались, переговаривались громким шепотом, гремели посудой, Наташка ворчала: "Опять каша! Неужели у вас фантазии нет?" Лена реагировала с привычным утренним гневом: "Я тебе покажу фантазию! Сядь как следует!"-- а теща бубнила: "Если б другие дети имели то, что имеешь ты..." Это была заведомая ложь. Другие дети имели все то же самое и даже гораздо больше. Но в те утра, когда Дмитриев просыпался, охваченный невразумительным оптимизмом, его ничто не раздражало. Он смотрел с высоты пятого этажа на сквер с фонтаном, улицу, столб с таблицей троллейбусной остановки, возле которого сгущалась толпа, и дальше он видел парк, многоэтажные дома на горизонте и небо. На балконе соседнего дома, очень близко, в двадцати метрах напротив, появлялась молодая некрасивая женщина в очках, в коротком, неряшливо подпоясанном домашнем халате. Она присаживалась на корточки и что-то делала с цветами, стоявшими на балконе в горшках. Она их трогала, поглаживала, заглядывала под листочки, а некоторые листочки поднимала и нюхала. Оттого, что она садилась на корточки, халат раскрывался, и становились видны ее крупные синевато-белые колени. Лицо женщины было такого же тона, как колени, синевато-белое. Дмитриев наблюдал за женщиной, сгибаясь и разгибаясь в поясе. Он смотрел на нее из-за занавески. Непонятно почему -- женщина ему совсем не нравилась,-- но тайное наблюдение за ней вдохновляло его. Он думал о том, что еще не все потеряно, что тридцать семь -- это не сорок семь и не пятьдесят семь и он еще может кое-чего добиться.

Топоча по коридору, в суматохе, сопровождаемые криками Лены: "А мешки взяли? Не бегите через дорогу! Attention, дети, attention",-- Наташка и фандеевская Валя, шестиклассница, покидали дом в тридцать минут девятого. Под их прыжками содрогалась лестница. Дмитриев проскальзывал в ванную, запирался, через три минуты легкий стук прерывал его размышления: "Виктор Георгиевич, сегодня пятница, у меня стирка, я вас умоляю -- побыстрее!" Это был голос соседки Ираиды Васильевны, с которой теща Дмитриева не разговаривала, Лена была в холодных отношениях, но Дмитриев старался быть корректен, оберегая свою объективность и независимость. "Хорошо-- отвечал он сквозь шум воды.-- Будет сделано!" Он быстро брился, включив газовую колонку и полоская кисточку под горячей струей, потом мыл лицо над старым, пожелтевшим, с обитым краем умывальником -- его давно полагалось сменить, но Фандеевым один черт, над каким умывальником мыться, а Ираида Васильевна жалела деньги -- и вскоре, слегка насвистывая, с газетами в руке, которые он успевал на пути из ванной по коридору достать из ящика, возвращался в комнату. Стол еще был загроможден посудой после недавней еды Наташки и Лены. Теперь торопилась Лена, она уходила на десять минут позже Наташки, и утреннее обслуживание Дмитриева принимала на себя теща. Дмитриеву это не особенно нравилось, теща тоже ухаживала за зятем без энтузиазма -- это была ее маленькая утренняя жертва, один из тех незаметных подвигов, из которых и состоит вся жизнь таких тружениц, таких самозабвенных натур, как Вера Лазаревна.

Иногда Дмитриев замечал, что Лена лишь старается показать, что ей некогда, а на самом деле

у нее вполне хватило бы времени приготовить ему завтрак, но она нарочно уступала эту миссию матери: как бы затем, чтобы Дмитриев был чем-то, пускай незначительным, пускай на минуту, теще обязан. Она даже могла шепнуть ему на ухо: "Не забудь поблагодарить маму!" Он благодарил. Он видел все эти уловки по регулированию семейных связей и в зависимости от настроения то не обращал на них внимания, то тихо раздражался. На тихое раздражение Вера Лазаревна всегда ответствовала по-своему -- нежнейшим ехидством. "Как быстро-то Виктор Георгиевич освободил ванную! Вот молодец! -- улыбаясь, говорила она и влажным кухонным полотенцем вытирала на клеенке местечко для Дмитриева.-- Что значит -- соседка попросила..." Лена решительно пресекала: "При чем тут соседка? Витя всегда моется быстро".-- "Я и говорю, молодец, молодец, по-военному..."

В то утро начального октября за окном была синь, комната наполнилась светом, отраженным от залитого солнцем бело-кирпичного торца противоположного дома, и голоса Веры Лазаревны не было слышно. В первый миг, едва разлепив глаза, Дмитриев бессознательно -- из-за солнца и света -- ощутил радость, но уже в следующую секунду все вспомнилось, синева смеркла, за окном установился безнадежно ясный и холодный осенний день. До завтрака ни он, ни Лена не сказали друг другу ни слова. Но после того, как Дмитриев позвонил Ксении Федоровне -- он звонил сестре Лоре в Павлиново, где сейчас мать жила, и Ксения Федоровна бодрым голосом рассказала, что вчера поздно заезжал Исидор Маркович, нашел состояние хорошим, давление в норме, советовал с первым снегом поехать в какой-нибудь подмосковный санаторий, затем следовали вопросы насчет Наташкиных дел, как ее глаза, исправила ли тройку по физике, дают ли ей морковку сырую тертую -- самое полезное питание для глаз, и что слышно с командировкой Дмитриева,-- он испытал внезапное облегчение, точно отлив боли от головы. Вдруг показалось, что все, может, и обойдется. Бывают же ошибки, самые невероятные ошибки. И с этой ничтожной радостью и минутной надеждой он пришел после телефонного разговора в комнату -- Наташка уже убежала, а Лена поспешно что-то шила, наполовину одетая, в юбке и в черной нижней рубашке, с голыми плечами -- и, проходя мимо Лены, он легонько шлепнул ее пониже спины и спросил дружелюбно: -- Ну-с, как настроение?

Вдруг сухо Лена ответила, что настроение у нее плохое.

-- Да что ты? -- сказал Дмитриев, задетый тем, что так сухо отвечают на его дружелюбие.-- Это отчего же?

-- Причин, по-моему, больше чем достаточно. Мама заболела. -- Твоя мама?

-- Ты думаешь, только твоя может болеть? -- А что с Верой Лазаревной?

-- Что-то очень серьезное с головой. Второй день лежит, я уж тебе не говорила вчера, но сегодня утром позвонила... Какие-то мозговые спазмы.

Лена закончила шитье, надела кофточку и подошла к зеркалу, глядя на себя высокомерно. Кофточка была с короткими рукавами, что было некрасиво -- руки у Лены вверху толсты, летний загар сошел, белеет кожа в мелких пупырышках. Ей надо носить только длинные рукава, но сказать ей об этом было бы неосмотрительно. Какая выдержка -- ни звука о своем вчерашнем предложении! Может, ей стало стыдно, но скорее тут была некоторая амбиция: ее обвинили в бестактности, в отсутствии чуткости, как раз в тех качествах, которые ей самой особенно неприятны в людях, и она проглотила эту несправедливость и даже просила прощения и как-то унижалась. Но теперь она будет молчать. Зачем всегда ходить в плохих? Нет уж, теперь станете просить -- не допроситесь. К тому же ей не до того, она озабочена болезнью матери (Дмитриев готов был отвечать ста рублями против рубля за то, что у тещи ее обычная мигрень). Господи, как он научился читать вслепую в этой книге! Не успел Дмитриев

насладиться последней мыслью, полной самодовольства, как Лена ошеломила его. Совершенно буднично и мирно она сказала:

-- Витька, я тебя прошу-- поговори сегодня же с Ксенией Федоровной. Просто предупреди, что Маркушевичи могут смотреть ее комнату, и надо взять ключ.

Помолчав, он спросил: -- Когда они хотят смотреть?

-- Завтра, послезавтра, не знаю точно. Они позвонят. А ты, если поедешь сегодня в Павлиново, не забудь, возьми ключ у Ксении Федоровны. Кефир, пожалуйста, поставь в холодильник, а хлеб -- в мешочек. А то всегда оставляешь, и он сохнет. Пока!

Махнув приветственно, она вышла в коридор. Хлопнула входная дверь. Загудел лифт. Дмитриеву что-то Хотелось сказать, какая-то мысль, неясно-тревожная, возникала на пороге сознания, но так и не возникла, и он, сделав два шага вслед за Леной, постоял в коридоре и вернулся в комнату.

От ранней синевы не осталось и помину. Когда Дмитриев вышел к троллейбусной остановке, сеялся мелкий дождь и было холодно. Все последние дни дождало. Конечно, Исидор Маркович прав -- он опытейший врач; старый воробей, его приглашают на консультации в другие города -- надо вывозить мать за город, но не в такую же гриппозную сырость. Но если он советует подмосковный санаторий, значит, не видит близких угроз -- вот же что! И Дмитриев второй раз за сегодняшнее утро с робостью подумал о том, что, может быть, все и обойдется. Они обменяются, получают хорошую отдельную квартиру, будут жить вместе. И чем скорее обменяются, тем лучше. Для самочувствия матери. Свершится ее мечта. Это и есть психотерапия, лечение души! Нет, Лена бывает иногда очень мудра, интуитивно, по-женски -- ее вдруг осеняет. Ведь тут, возможно, единственное и гениальное средство, которое спасет жизнь. Когда хирурги бессильны, вступают в действие иные силы... И это то, чего не может добыть ни один профессор, никто, никто, никто!

Уже ни о чем другом не мог думать Дмитриев, стоя на троллейбусной остановке под морозящим дождем и потом, пробираясь внутрь вагона среди мокрых плащей, толкающих по колену портфелей, пальто, пахнущих сырым сукном, и об этом же он думал, сбегая по грязным, скользким от нанесенной тысячами ног дождевой мокряди, ступеням метро, и стоя в короткой очереди в кассу, чтобы разменять пятиалтынный на пятаки, и снова сбегая по ступеням еще ниже, и бросая пятак в щель автомата, и быстрыми шагами идя по перрону вперед, чтобы сесть в четвертый вагон, который остановится как раз напротив арки, ведущей к лестнице на переход. И все о том же -- когда шаркающая толпа несла его по длинному коридору, где был спертый воздух и всегда пахло сырым алебастром, и когда он стоял на эскалаторе, втискивался в вагон, рассматривал пассажиров, шляпы, портфели, куски газет, папки из хлорвинила, обмякшие утренние лица, старух с хозяйственными сумками на коленях, едущих за покупками в центр,-- у любого из этих людей мог быть спасительный вариант. Дмитриев готов был крикнуть на весь вагон: "А кому нужна хорошая двадцатиметровая?.."

Без четверти девять он выбрался из подземелья на площадь, без пяти пересек переулок и, обогнув стоявшие возле подъезда автомобили, вошел в дверь, рядом с которой висела под стеклом черная таблица "ГИНЕГА".

В этот день решался вопрос о командировке в Голышманово, в Тюменскую область. Командировку утвердили еще в июле, и ехать обязан был не кто иной, как Дмитриев. Насосы -- его вотчина. Он один отвечал за это дело и один в нем по-настоящему разбирался, если не считать Сниткина. Неделю назад Дмитриев затеял с ним разговор, но Паша Сниткин,

хитромудрый деятель (в отделе его называли "Паша Сниткин С-миру-по-ниткин" за то, что ни одной работы он не сделал самостоятельно, всегда умел устроить так, что все ему помогали), сказал, что поехать, к сожалению, никак не может -- тоже по семейным обстоятельствам. Наверное, врал. Но тут было его право. Кому охота ехать в ненастье, в холода в Сибирь? Сниткину было неловко отказывать, и у него вырвалось с досадой: "Ты же говорил, что твоей матушке стало лучше?"

Дмитриев не стал объяснять, только махнул рукой: "Где лучше..." А ведь Паша всегда так внимательно расспрашивал о здоровье Ксении Федоровны, давал телефоны врачей, вообще проявлял сочувствие, и в его согласии Дмитриев был почему-то совершенно уверен. Но почему? С какой стати? Теперь стало ясно, что эта уверенность была глупостью. Нет, они не фальшивят, когда проявляют сочувствие и спрашивают с проникновенной осторожностью: "Ну, как у вас дома дела?" -- но просто это сочувствие и эта проникновенность имеют размеры, как ботинки или шляпы. Их нельзя чересчур растягивать. Паша Сниткин переводил дочку в музыкальную школу, этим хлопотливым делом мог заниматься один он -- ни мать, ни бабушка. И если б он уехал в октябре в командировку, музыкальная школа в этом году безусловно пропала бы, что причинило бы тяжелую травму девочке и моральный урон всей семье Сниткиных. Но, боже мой, разве можно сравнивать -- умирает человек и девочка поступает в музыкальную школу? Да, да. Можно. Это шляпы примерно одинакового размера -- если умирает чужой человек, а в музыкальную школу поступает своя собственная, родная

Дмитриев не стал объяснять, только махнул рукой: "Где лучше..." А ведь Паша всегда так внимательно расспрашивал о здоровье Ксении Федоровны, давал телефоны врачей, вообще проявлял сочувствие, и в его согласии Дмитриев был почему-то совершенно уверен. Но почему? С какой стати? Теперь стало ясно, что эта уверенность была глупостью. Нет, они не фальшивят, когда проявляют сочувствие и спрашивают с проникновенной осторожностью: "Ну, как у вас дома дела?" -- но просто это сочувствие и эта проникновенность имеют размеры, как ботинки или шляпы. Их нельзя чересчур растягивать. Паша Сниткин переводил дочку в музыкальную школу, этим хлопотливым делом мог заниматься один он -- ни мать, ни бабушка. И если б он уехал в октябре в командировку, музыкальная школа в этом году безусловно пропала бы, что причинило бы тяжелую травму девочке и моральный урон всей семье Сниткиных. Но, боже мой, разве можно сравнивать -- умирает человек и девочка поступает в музыкальную школу? Да, да. Можно. Это шляпы примерно одинакового размера -- если умирает чужой человек, а в музыкальную школу поступает своя собственная, родная

дочка.

Директор ждал Дмитриева в половине одиннадцатого. Склонив голову набок и глядя с каким-то робким удивлением Дмитриеву в глаза, директор сказал: -- Так что же будем делать? Дмитриев ответил: -- Не знаю. Ехать я не могу.

Директор молчал, трогая белыми широкими пальцами кожу на щеках, на подбородке, словно проверяя, хорошо ли побрился. Взгляд его становился задумчивым. Он действительно о чем-то крепко задумался и даже бессознательно замурлыкал какую-то мелодию.

-- Н-да... Так как же быть, Виктор Георгиевич? А? А если дней на десять? -- Нет! -- отрывисто сказал Дмитриев.

Он понял, что может стоять, как скала, и его не сдвинут. Только не надо ничего объяснять. И директор, подумав, назвал фамилию Тягусова, молодого парня, год назад окончившего институт и, как казалось Дмитриеву, порядочного балбеса.

Еще недавно Дмитриев стал бы протестовать, но теперь вдруг почувствовал, что все это не имеет значения. А почему не Тягусова?

-- Конечно,-- сказал он.-- Я посижу с ним дня два, все ему объясню. Он справится. Парень толковый.

Придя в свою комнату на первом этаже, Дмитриев полтора часа работал не разгибаясь: готовил документацию для Голышманова. Хотя он и раньше не верил в то, что его заставят поехать, все же мысль о командировке давила, была ко всем его тягостям еще одной гирькой, и теперь, когда гирьку сняли, он испытал облегчение. И подумал с надеждой, что сегодня, может быть, будет удачный день. Как у всех людей, которых гнетет судьба, у Дмитриева выработалось суеверие: он замечал, что бывают дни везения, когда одна удача цепляется за другую, и в такие дни надо стараться проворачивать как можно больше дел, и бывают дни невезения, когда ни черта не клеится, хоть лопни. Похоже на то, что начинается день удач. Теперь надо занять деньги. Лора просила привезти хотя бы рублей пятьдесят. На одного Исидора Марковича ушло за месяц -- четырежды пятнадцать -- шестьдесят рублей. А где взять? Такая гадость: занимать деньги. Но делать надо сегодня, раз уже сегодня деньудач.

Дмитриев стал думать, к кому бы ткнуться. Почти все-- он вспомнил -- жаловались недавно, что денег нет, прожились за лето. Сашка Прутьев строил кооперативную квартиру, сам был весь в долгах. Василий Герасимович, полковник, партнер по преферансу и по поездкам на рыбалку, всегда выручавший Дмитриева, переживал трагедию -- ушел от жены, просить его было неловко. Приятели Дмитриева по КПЖ (клуб полуженатиков), к которым Дмитриев кидался в минуты отчаянья, когда ссорился с Леной, были люди малоимущие -- их состояния заключались у кого в автомобиле, у кого в моторной лодке, в туристской палатке, в бутылках французского коньяка или виски "Белая лошадь", купленных случайно в Столешниковом и хранящихся на всякий пожарный дома в книжном шкафу, -- и могли одолжить не больше четвертака, сороковки от силы, а достать необходимо было не меньше полутора сот. Была, конечно, последняя возможность, предел мучительства: попросить у тещи. Но это уж значило -- докатиться. Дмитриев еще мог бы сделать над собой усилие, перемучиться, но Лена переживала такие вещи чересчур болезненно. Она-то знала свою мать лучше. Внезапно Дмитриеву пришло в голову -- это была та самая мысль, что неясно тревожила, а теперь вдруг прорезалась,-- как же сказать матери насчет обмена? Она прекрасно ведь знает, как Лена относилась к этой идее, а теперь почему-то предложила съезжаться. Почему?

Дмитриева даже бросило в пот, когда он все это вдруг сообразил. Он вышел в коридор, где на тумбочке стоял телефон, и позвонил Лене на работу. Обычно дозваться ее было нелегко. Но тут повезло (день удач!): Лена оказалась в канцелярии и сама сняла трубку. Дмитриев, торопясь, одной длинной сумбурной фразой высказал свои сомнения. Лена молчала, потом спросила:

-- Значит, что же, ты не хочешь говорить? -- Я не знаю как. Не могу же я внушить ей мысль -- ты понимаешь?

Лена, снова помолчав, сказала, чтобы он позвонил через пять минут по другому телефону, откуда ей удобней говорить. Он позвонил. Лена говорила теперь громко и энергично:

-- Скажи так: скажи, что ты очень хочешь, а я против. Но ты настоял. То есть вопреки мне, ясно? Тогда это будет естественно, и твоя мама ничего не подумает. Вали все на меня. Только не перебарщивай, а так -- намеками...-- Неожиданно она заговорила изменившимся, льстивым голосом: -- Извините, пожалуйста, одну минуточку, я сейчас уйду! Значит, все ясно? Ну, пока. Да, Витя, Витя! Поговори там с кем-то у вас на работе, кто удачно менялся, слышишь? Пока!

То, что Лена говорила, было, конечно, правильно и хитро, но тоска стиснула сердце Дмитриеву. Он не мог сразу вернуться в комнату и несколько минут бродил по пустому коридору.

До обеда он ни к кому не пошел и не стал ничего узнавать, а после обеда поднялся на третий этаж к экономистам. Лишь только он отворил дверь, Таня сразу же увидела его и вышла. Ничего не спрашивая, она испуганно смотрела на него.

-- Да нет, ничего плохого,-- сказал он.-- Даже, может, немного лучше. Тань, ты не знаешь: у вас кто-нибудь менялся? Квартиры менял? -- Не знаю. Кажется, Жерехов. А что? -- Мне надо посоветоваться. Мы должны срочно меняться, понимаешь?

-- Вы?

-- Да.

-- Вы хотите...-- лицо Тани покраснело,-- съезжаться с Ксенией Федоровной?

-- Да, да! Это очень важно. В общем, долго объяснять, но это просто необходимо сейчас.

Таня молчала, опустив голову. В ее волосах, упавших на лицо, было много седых. Ей тридцать четыре, еще молодая женщина, но за последний год она здорово сдала. Может, больна? Уж очень она похудела, тонкая шея торчит из воротника, на худом лице из просяной, веснушчатой бледности одни глаза -- добрые -сияют во всегдашнем испуге. Этот испуг -- за него, для него. Таня была бы, наверное, ему лучшей женой. Три года назад это началось, длилось одно лето и кончилось само собой: когда Лена с Наташкой вернулись из Одессы. Нет, не кончилось, тянулось слабой ниткой, рвалось на месяцы, на полгода. Знал, что, если рассуждать разумно, она была бы ему лучшей женой. Но ведь -разумно, разумно... У Тани был сын Алик и муж, носивший странную фамилию Товт. Дмитриев никогда его не видел. Знал, что муж сильно любил Таню, простил ей все, но после того лета, три года назад, она больше не могла с ним жить, и они расстались. Дмитриев очень жалел, что так получилось, что муж сделался несчастным человеком, бросил работу, уехал из Москвы, и Таня тоже стала несчастным человеком, но ничего поделать было нельзя. Таня хотела уйти из ГИНЕГА, чтобы не видеть каждый день Дмитриева, но уйти оказалось трудно. Потом она постепенно смирилась со всем этим и научилась спокойно встречаться с Дмитриевым и разговаривать с ним, как со старым товарищем.

Дмитриев вдруг понял, о чем она сейчас думает: значит -все, никогда.

-- Ну, что можно сделать?-- сказал он.-- Понимаешь, это какой-то шанс, какая-то надежда. Мать же мечтала со мной жить.

-- О чем ты говоришь? Она мечтала, наверное, не об этом.

-- Я знаю.

-- Ой, Витя... Ну, поговори с нашим Жереховым. Я его сейчас вызову. Только он большой болтун и враль, имей в виду.-Вдруг она спросила: -- Тебе деньги нужны?

-- Деньги? Нет.

-- Витя, возьми. Я знаю, что значит болеть. Моя тетка болела восемь месяцев. Отложены двести рублей на летнее пальто, но лето, как видишь, кончилось, а я ничего не купила. Так что совершенно спокойно могу дать до весны.

-- Нет, деньги мне не нужны. У меня есть.-- Он поморщился. Еще чего: занимать у Тани! Вдруг усмехнулся.-Действительно, какой-то странный день! Одно за одним... -Зайдем ко мне после работы, и я тебе дам, хорошо?

Помолчав, он сказал:

-- Я вру, денег у меня нет. Но не хочу брать у тебя. -Дурак! -- Она шлепнула его по щеке. Дмитриев видел, что она обрадовалась. Она даже взяла его за руку, когда они вместе подошли к дверям комнаты, в которой сидел Жерехов.

-- Леонид Григорьевич! -- крикнула Таня.-- Можно вас на минутку?

-- Леонид Григорьевич! -- крикнула Таня.-- Можно вас на минутку?

Жерехов, маленького роста, приветливый старичок, совершенно лысый, с ровными и белыми вставными зубами, очень любезно и с охотой стал рассказывать, как он менялся. Дмитриев знал Жерехова немного, но заметил, что тот любезен и приветлив со всеми -- наверное, потому, что, находясь в жалком пенсионном возрасте, старичок боролся за место и желал со всеми подряд находиться в наилучших отношениях. Оттого он рассказывал невыносимо подробно и длинно. Кто-то уехал за границу. Кто-то оказался в безвыходном положении. Кому-то пришлось заплатить. Все это было не то. Но затем Жерехов вдруг воскликнул, и его голубые старческие глаза от прилива любезности расширились:

-- Да! Вот с кем вам надо -- с Невядомским! Вы Невядомского знаете, Алексея Кирилловича? Из КБ-3? У него такая же история, он тоже менялся, оттого...-- Жерехов понизил голос,-- что теща безнадежно хворала. У нее была отличная комната, чуть ли не двадцать пять метров, где-то в центре. А Алексей Кириллович жил на Усачевке. Все надо было делать очень срочно. И удалось, вы знаете, замечательно удалось! Вот он вам расскажет. Правда, у него были зацепки в райжилотделе. Словом, так: он успел оформить обмен, сделал ремонт в той квартире -это его обязали через ЖЭК,-- перевез тещу, получил лицевой счет, и через три дня старушка померла. Представляете? Он, бедняга, в ту зиму натерпелся, я помню. Чуть не слег. Но сейчас у него квартира исключительная, просто генеральская, люкс. Лоджии, два балкона, масса всякой подсобной кубатуры. Он на одном балконе даже помидоры выращивает. Вы зайдите, зайдите, он расскажет! Желаю успеха!

Жерехов благожелательно кивал и, пятясь, вперся назад в свою комнату. Пока он говорил, Таня стояла рядом с Дмитриевым и незаметно держала его за кончик мизинца.

-- В шесть спускайся вниз и сразу поедем,-- сказала шепотом.

-- Ты понимаешь, я должен сегодня к Лоре в Павлиново. Меня ждет мать. Она сейчас у Лоры.

Он знал, что наносит удар некоторым надеждам Тани, но лучше уж было сказать сразу.

-- Ну, хорошо. Делай, как тебе нужно.-- На ее лице все отпечатывалось мгновенно: оно смеркло.

-- Нет, я к тому, что...

-- Я понимаю! Неужели думаешь, что я не понимаю? Ни на секунду тебя не задержу. Возьмешь деньги и тут же -- катись.

Кивнув, она быстро пошла от него по коридору. Еще недавно, год назад, в ее высокой фигуре было что-то, волновавшее Дмитриева. Особенно в те минуты, когда она уходила от него и он

смотрел ей вслед. Но теперь ничего не осталось. Все куда-то исчезло. Теперь это была просто высокая, худая, очень длинноногая женщина с пучком крашенных хною волос на тонкой шейке. И все-таки каждый раз, глядя на нее, он думал о том, что она была бы для него лучшей женой.

Дмитриев вернулся в отдел, посидел полчаса над документацией -- мысли его вертелись вокруг того же: мать, Лора, Таня, Лена, деньги, обмен -- и понял, что надо уйти с работы раньше, иначе попадет в Павлиново чересчур поздно. Таня жила в неудобнейшем месте, хуже не придумаешь -- в Нагатине. Дмитриев пошел в кабинетик Сотниковой Варвары Алексеевны, своей начальницы, и сказал, что хотел бы, если можно, уйти сегодня в пять. Варвара Алексеевна согласилась. Все в отделе знали, что происходит в жизни Дмитриева, и относились с пониманием: каждую неделю разок-другой он мог уйти с работы раньше срока. Однажды даже, был такой грех, он бегал под этой маркой в универмаг "Москва", покупал форму для Наташки. Вновь Дмитриев поднялся на третий этаж и сказал Тане, чтоб она тоже отпросилась уйти в пять. Потом пошел в КБ-3 к Невядомскому -- тут же, на третьем этаже.

Идти к Невядомскому Дмитриев решил после некоторых колебаний. Отношения между ними были прохладные -- по вине одного дмитриевского приятеля, который уже полгода, правда, не работал в ГИНЕГА. У Невядомского с этим приятелем были какие-то скандалы в профкоме. И они не здоровались. А когда Невядомский встречал Дмитриева в компании этого приятеля, он -- заодно уж -- не здоровался и с Дмитриевым, и точно так же из солидарности с приятелем поступал Дмитриев. Однако когда Невядомский и Дмитриев встречались по отдельности, они вполне корректно, хотя и несколько прохладно здоровались и даже обменивались двумя-тремя фразами. Все это была чепуха собачья, и Дмитриев решил наплевать и пойти. А вдруг у Невядомского действительно есть зацепки, и он ими поделится?

Невядомский, худощавый брюнет с черновато-рыжей курчавой бородкой, удивленно вскинул брови, когда Дмитриев, зайдя в комнату, попросил у него "краткой аудиенции". За столиком в углу двое рубились в шахматы, очень быстро переставляя фигуры. Невядомский стоял рядом и смотрел. У "кабетришников" любимым занятием были шахматы, они играли блицы, пятиминутки, а у "кабедвашников" процветал пинг-понг. Сражения происходили в обеденный перерыв, но иногда прихватывали и от рабочего времени, особенно к концу дня. Невядомский, сказав: "Одну минуту! Сейчас, сейчас!" -- продолжал наблюдать за игроками. Те хлопали фигурами по доске со скоростью автоматов, пока один не вскрикнул: "Ах, черт!" -- и ударом пальца не опрокинул своего короля. Невядомский рассмеялся злорадно и произнес:

-- И сказал тут балда с укоризною: не гонялся бы ты, поп, за дешевизною!

После этого с выражением злорадной улыбки на лице он двинулся к дверям, но, наткнувшись взглядом на Дмитриева, согнал улыбку, и его брови опять с удивлением поднялись. Дмитриев стал нескладно излагать свою просьбу, вернее, намек на просьбу, окутанный торопливым и малосодержательным бормотанием. Невядомскому следовало догадаться: его просили поделиться советом о том, как поступать в известных ему обстоятельствах. Но Невядомский не догадывался. Его черновато-рыжая курчавая бородка поднималась выше, глаза смотрели все более холодно и, как показалось Дмитриеву, высокомерно.

-- Простите, я не пойму, собственно...

-- Сейчас я объясню. Дело в том, что причины, побудившие вас и меня... Словом, у нас одинаковая ситуация...

-- Что вы имеете в виду?

-- Что я имею в виду? -- Дмитриев почувствовал, как его шея и щеки наливаются краской.-- Я имею в виду вот что: мне тоже надо меняться как можно скорей. Я и хотел с вами посоветоваться, как это делается вообще? С чего начинать?

-- С чего начинать? Как -- с чего начинать? С бюро обмена, разумеется. Заплатить три рубля и дать объявление в бюллетене.

-- Но вы же понимаете, что, если человек серьезно болен, очень серьезно и дорог каждый час...

-- А никак иначе вы начать не можете. С бюро обмена. Других путей я не знаю.-- Невядомский засунул большой палец в ноздрю, указательным прижал ее сверху и стал сосредоточенно что-то оттуда выкручивать. По-видимому, напряженно соображал, стоит или не стоит посвящать Дмитриева в свои зацепки. Решил: не стоит.-- У меня не было никаких иных путей.-- Вдруг Невядомский фыркнул:-- Знаете, вы напомнили мне глупейшую историю! Когда я был студентом, у меня умер отец. Прошло месяца два или три...-- Рассказывая, он продолжал большим пальцем выкручивать что-то из носа.-- И неожиданно ко мне заходит сосед, незнакомый человек из другого подъезда, и говорит: "У меня умер отец, а я слышал, что у вас тоже недавно умер отец. Вот я пришел к вам познакомиться и попросить вас поделиться опытом". Каким опытом? Что? Как? Я его, разумеется, вежливо выставил.

"И это вынести тоже,-- думал Дмитриев, ощущая оцепенение. Повернуться и уйти, но он продолжал стоять, глядя в черновато-рыжую бороду.-- На тешиной могиле помидоры. Ну, все равно. И это тоже. И будет еще другое".

-- Если хотите, у меня где-то есть телефон некоего Адама Викентьевича, маклера. Могу поискать...

Преодолевая оцепенение, Дмитриев повернулся и пошел по коридору прочь. В пять вышли с Таней на площадь, и тут же -редкий случай! -- подвернулось пустое такси. Дмитриев свистнул, они вскочили, поехали. Переулок был заполнен толпой, двигавшейся в одном направлении, к метро. Кончила заводская смена. Такси ехало медленно. Люди заглядывали в кабину, кто-то постучал ладонью по крыше. Когда проехали метро и вырвались на проспект, Дмитриев заговорил -- о Невядомском, со злобой. Таня взяла его за руку.

-- Ну, зачем злишься? Не надо. Перестань... Он чувствовал, как ее спокойствие и радость переливаются в него. Таня, улыбаясь, сказала:

-- Все мы очень же разные. Мы -- люди... У моей двоюродной сестры умер маленький сынок. Конечно, безумное горе, переживания и при этом какая-то новая, страстная любовь к детям, особенно больным. Она всех жалела, старалась, чем могла, помочь. И есть у меня знакомая, у которой тоже умер мальчик, от белокровия. Так эта женщина всех возненавидела, она всем желает смерти. Радует, когда читает в газете, что кто-то умер...

Таня придвинулась. Положила голову ему на плечо, спросила: -- Можно? Тебе не мешает? -- Можно,-- сказал он.

Ехали окраинами, через новые районы. Дмитриев рассказывал о Ксении Федоровне. Таня спрашивала с сочувствием -- это было истинное, Дмитриев знал, к его матери она испытывала симпатию. А Ксении Федоровне нравилась Таня, они виделись раза два летом, в Павлинове. Таня держала его руку в своей, иногда начинала тихо щекотать его ладонь пальцем. Ласки Тани всегда были какие-то школьные.

Не отнимая руки, он подробно рассказывал о матери: что говорил профессор Зурин, что сказал Исидор Маркович. Таня засмеялась:

-- Ах, гнусная баба! Одалживает деньги и пристает с нежностями, правда? -- Она вдруг ткнулась носом к его щеке, прижалась.-- Прости меня, Витя... Я не могу...

Он гладил ее голову. Долго ехали молча. Проехали Варшавку. -- Ну, что ты? -- спросил он. -- Ничего. Не могу... -- Что?

-- Жалко -- тебя, твою маму... И себя заодно. Дмитриев не знал, что сказать. Просто гладил ее голову и все. Она стала хлюпать носом, он почувствовал на щеке мокрое. Тогда она отодвинулась от него и, отвернувшись, стала смотреть в окно. Наконец миновали набережную, поехали по трамвайным путям, мимо какой-то фабрики, вдоль глухого длинного каменного забора. Возле пивного ларька густела черная толпа мужчин. Некоторые в одиночку и парочками с кружками в руках стояли поодаль. Дмитриев почувствовал, что сушит горло -- захотелось хлебнуть чего-то, взбодриться. "Надо спросить,-- подумал он.-- У Танюшки бывало. Хоть что-нибудь".

Новый шестнадцатизэтажный дом стоял на краю поля. Дорога шла в объезд, вокруг поля. -- Вот здесь,-- сказала Таня.

Дмитриев отлично помнил, что здесь. Последний раз он был тут около года назад. -- Ты машину оставишь? -- спросила Таня. Конечно, надо было оставить. Но его всегдашнее слабодушие -- он видел, что Тане страстно этого не хотелось,-- заставило ответить: -- Да ладно, пусть едет. Я тут найду. -- Конечно, найдешь! -- сказала Таня. Поднялись на одиннадцатый этаж. Таня вдвоем с сыном жила в большой трехкомнатной квартире. Бедняга Товт выстроил этот корабль в кооперативном доме, только успели въехать, и тут все случилось. Алик был тогда в лагере, Товт трудился где-то в Дагестане -- он был горный инженер,-- и Таня жила одна в пустых, без мебели, комнатах, пахнущих краской. На полах лежали газеты. В одной комнате стоял громадный диван, больше ничего. И любовь Дмитриева была неотделима от запаха краски и свежих дубовых полов, еще ни разу не натертых. Босой, он шлепал по газетам на кухню, пил воду из крана. Таня знала множество стихов и любила читать их тихим голосом, почти шептать. Он поражался ее памяти. Сам он не помнил, пожалуй, ни одного стихотворения наизусть -- так, отдельные четверостишия. "Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет".

А Таня могла шептать часами. У нее было штук двадцать тетрадей, еще со студенческих времен, где крупным и ясным почерком отличницы были переписаны стихи Марины Цветаевой, Пастернака, Мандельштама, Блока. И вот в минуты отдыха или когда не о чем было говорить и становилось грустно, она начинала шептать: "О господи, как совершенны дела твои, думал больной..." Или еще: "Сними ладонь с моей груди, мы провода под то ком".

Иногда, устав от однообразного шелестения губ, он говорил: "Ну, хорошо, моя радость, передохни. А почему этот ваш Хижняк с Варварой Алексеевной не здоровается?" После паузы она отвечала печально: "Не знаю". Все ее обиды были мгновенны. Даже тогда, когда она могла бы обидеться по-серьезному. Почему-то он был уверен в том, что она не разлюбит его никогда. В то лето он жил в этом состоянии, не испытанном прежде: любви к себе. Удивительное состояние! Его можно было определить как состояние привычного блаженства, ибо его сила заключалась в постоянстве, в том, что оно длилось недели, месяцы и продолжало существовать даже тогда, когда все уже кончилось.

Но Дмитриев не задумывался: за что ему это блаженство? Чем он заслужил его? Почему

именно он -- не очень уже молодой, полноватый, с нездоровым цветом лица, с вечным запахом табака во рту? Ему казалось, что тут нет ничего загадочного. Так и должно быть. И вообще, казалось ему, он лишь приобщился к тому нормальному, истинно человеческому состоянию, в котором должны -- и будут со временем -- всегда находиться люди. Таня же, наоборот, жила в неизбывном страхе и в каком-то страстном недоумении. Обнимая его, шептала, как стихи: "Господи, за что? За что?"

Она ни о чем не просила и ни о чем не спрашивала, и он ничего не обещал. Нет, ни разу ничего не обещал. Зачем было обещать, если он твердо знал, что все равно она не разлюбит его никогда. Просто ему приходило в голову, что она была бы для него лучшей женой.

В комнатах появилась новая мебель -- в одной комнате сервант и круглый полированный стол, в другой -- . полупустой книжный шкаф. Но паркет по-прежнему был не натерт и выглядел грязновато. Из комнаты вышел Алик, заметно подростший, бледное веснушчатое создание лет одиннадцати в очках на тонком носике. Голову он держал слегка откинув назад и набок, может быть, оттого, что был нездоров, а может быть, так лучше видел через очки. Эта посадка головы и маленький сжатый рот придавали мальчику выражение надменности.

-- Мам, я пойду к Андрюше. Мы будем марками меняться,-проговорил он скрипучим голосом и метнулся через коридор к двери.

-- Пстой! Почему ты не поздоровался с Виктором Георгиевичем?

-- Здравствуйте.-- не глядя, бросил через плечо Алик. Торопясь, отомкнул замок и выскочил, хлопнув дверью.

-- Приходи не позже восьми! -- крикнула в закрытую дверь Таня.-- Воспитанием юноша не блещет. -- Он, наверно, забыл меня. Я давно все-таки не был. -- А даже если пришел незнакомый человек? Здравоваться не нужно? -- Таня прошла в большую комнату, открыла боковую дверцу серванта и сказала: -- Он тебя не забыл.

Из-под кипы чистого белья она достала газетный сверток, развернула и дала Дмитриеву пачку денег. Он спрятал деньги в карман.

-- Ну, иди,-- сказала Таня.-- У тебя же времени нет. Он вдруг выдвинул стул и сел к полированному столу.

-- Посижу малость. Что-то я устал.-- Он снял шляпу, ладонью потрогал лоб.-- Голова болит. -- Хочешь покушать? Дать что-нибудь? -- А выпить ничего нет?

-- Нет... Пстой! -- Глаза ее обрадованно засияли.-Кажется, где-то осталась бутылка коньяку, которую мы с тобой не допили. Помнишь, когда ты был последний раз? Сейчас посмотри!

Она побежала на кухню, через минуту принесла бутылку. На дне было граммов сто коньяку. -- Сейчас будет закуска. Одну минуту! -- Да зачем тут закуска?

-- Сейчас, сейчас! -- Она снова опрометью кинулась на кухню.

Дмитриев встал, подошел к балконной двери. С одиннадцатого этажа был замечательный вид на полево́й простор, реку и темневшее главами собора село Коломенское. Дмитриев подумал, что мог бы завтра переселиться в эту трехкомнатную квартиру, видеть по утрам и по вечерам реку, село, дышать полем, ездить на работу автобусом до Серпуховки, оттуда на метро, не так уж долго. Таня принесла в стеклянной посуде шпроты, два помидора, масло, хлеб и рюмки. Он

налил себе полную рюмку, а Тане -- что осталось. Она всегда пила мало, сразу пьянела.

-- За что мы пьем? -- спросила Таня. -- За то, чтоб тебе было хорошо. -- Ну, давай! Нет. За это не надо. Мне и так будет хорошо. А вот давай за то, чтоб тебе было хорошо. Давай?

-- Ладно.-- Ему было все равно. Он уже выпил и жевал помидор. Хмыкнул: -- Эти помидоры не с могилы тещи Невядомского?

-- Потому что тебе, Витя,-- сказала она,-- вряд ли когда-нибудь будет хорошо. Ну, а вдруг, а все-таки? Вот за это.

Он не стал спрашивать, что она имела в виду. Лишние разговоры. После коньяка стало тепло, он с удовольствием жевал помидор и смотрел на Таню, которая сгорбилась в задумчивости, опершись локтями о стол и глядя в угол комнаты.

-- Не сутулься! -- Он по-отечески слегка шлепнул ее по лопаткам.

Таня выпрямилась, продолжая глядеть в угол комнаты. На ее застывшем лице с зарозовевшими от капли коньяку пятнами на скулах было отчетливо видно страдание. На одно мгновение он очень остро пожалел ее, но тут же вспомнил, что где-то далеко и близко, через всю Москву, на берегу этой же реки, его ждет мать, которая испытывает страдания смерти, а Танины страдания принадлежат жизни, поэтому -- чего ж ее жалеть? В мире нет ничего, кроме жизни и смерти. И все, что подвластно первой, -- счастье, а все, что принадлежит второй... А все, что принадлежит второй,-- уничтожение счастья. И ничего больше нет в этом мире. Дмитриев поднялся рывком, с внезапной поспешностью, точно кто-то сильный схватил и дернул его за руки, и, сказав: "Пока! Я бегу!" -- понесся быстрыми шагами по коридору к двери. Таня ничего не успела ему сказать. Может быть, она ничего и не хотела ему говорить.

Дмитриев доехал автобусом до метро -- никакого такси, конечно, не было,-- сделал две пересадки и вышел на последней станции нового радиуса. Накрапывал мелкий дождь. Москва была далеко, белела громадными домами на горизонте, а тут было поле, изрытое котлованами, на мокрой глине лежали трубы и возле столба на шоссе стояла очередь, ждавшая троллейбус. Небо было в тучах, располагавшихся слоями -- наверху густело что-то неподвижное, темно-фиолетовое, ниже двигались светлые, рыхлые тучи, а еще ниже летела по ветру какая-то белая облачная рвань вроде ключев пара.

Лет сорок назад, когда отец Дмитриева Георгий Алексеевич строил дом в поселке Красных партизан, это место, Павлиново, считалось дачным. Оно было дачным и до революции, ездили сюда конкой от заставы. В тридцатые годы мальчик Витя, посредственный ученик, но прилежный велосипедист, рыболов, игрок в "пятьсот одно", глотатель Сенкевича и Густава Эмара, приезжал сюда летними днями на скрипучем старом автобусе, отходившем с часовыми промежутками от булыжной Звенигородской площади. В автобусе всегда было душно, окна не открывались, пахло дерюгами. Мимо волоклись пустыри, огороды, одна деревенька, другая, холодильник, радиополе, школа за каменным, из белого кирпича, забором, снова поле, огороды, церковь на бугре, и вдруг открывалась дуга запруды, где чернели неподвижные лодки рыболовов, и у мальчика Вити сжималось сердце. Дорога от автобусной станции шла среди сосен, мимо почерневших от дождей, годами не крашенных заборов, мимо дач, скрытых за кустами сирени, шиповника, бузины, поблескивающих сквозь зелень мелкозастекленными верандочками. Надо было идти по этой дороге долго, гудрон кончался, дальше шел пыльный большак, справа на взгорке была сосновая роща с просторной проплешиной -- в двадцатых годах упал самолет, и роща горела, а слева продолжали тянуть заборы. За одним из заборов, никак не замаскированный молодыми березками, торчал бревенчатый дом в два этажа с

подвалом, вовсе не похожий на дачный, скорее на дом фабрики где-нибудь в лесах Канады или на гасиенду в аргентинской саванне.

Лет сорок назад, когда отец Дмитриева Георгий Алексеевич строил дом в поселке Красных партизан, это место, Павлиново, считалось дачным. Оно было дачным и до революции, ездили сюда конкой от заставы. В тридцатые годы мальчик Витя, посредственный ученик, но прилежный велосипедист, рыболов, игрок в "пятьсот одно", глотатель Сенкевича и Густава Эмара, приезжал сюда летними днями на скрипучем старом автобусе, отходившем с часовыми промежутками от булыжной Звенигородской площади. В автобусе всегда было душно, окна не открывались, пахло дерюгами. Мимо волоклись пустыри, огороды, одна деревенька, другая, холодильник, радиополе, школа за каменным, из белого кирпича, забором, снова поле, огороды, церковь на бугре, и вдруг открывалась дуга запруды, где чернели неподвижные лодки рыболовов, и у мальчика Вити сжималось сердце. Дорога от автобусной станции шла среди сосен, мимо почерневших от дождей, годами не крашенных заборов, мимо дач, скрытых за кустами сирени, шиповника, бузины, поблескивающих сквозь зелень мелкозастекленными верандочками. Надо было идти по этой дороге долго, гудрон кончался, дальше шел пыльный большак, справа на взгорке была сосновая роща с просторной проплешиной -- в двадцатых годах упал самолет, и роща горела, а слева продолжали тянуть заборы. За одним из заборов, никак не замаскированный молодыми березками, торчал бревенчатый дом в два этажа с подвалом, вовсе не похожий на дачный, скорее на дом фабрики где-нибудь в лесах Канады или на гасиенду в аргентинской саванне.

Дом был построен кооперативом, звучно называвшимся "Красный партизан". Георгий Алексеевич не был красным партизаном, его пригласил в кооператив брат Василий Алексеевич, красный партизан и работник ОГПУ, владелица двухместного спортивного "опеля". Неподалеку на том же участке жил в маленькой дачке третий брат, Николай Алексеевич, тоже красный партизан, служивший во Внешторге, месяцами живший то в Японии, то в Китае. Николай Алексеевич привез из Китая игру ма-чжонг - в шкатулке красного дерева на четырех выдвижных полочках помещались сто сорок четыре камня, с одной стороны бамбук, с другой -- слоновая кость. В ма-чжонг сначала резались взрослые на деньги, потом, когда взрослым надоело или стало не до того, игра перешла во владение детей Николая Алексеевича и всей оравы павлиновской детской коммуны. Ничего не осталось от тех вечеров с патефонной музыкой "Утомленное солнце нежно с морем прощалось", с громким разговором двух глухих красных партизан, всегда споривших о чем-то на втором этаже, со стуком китайских костяшек на верандочке Николая Алексеевича. В этом мире, оказывается, исчезают не люди, а целые гнездовья, племена со своим бытом, разговором, играми, музыкой. Исчезают дочиста, так, что нельзя найти следов. Хотя там, в Павлинове, осталась Лора. Но кроме Лоры -- никого, ни единого человека. Из братьев раньше всех умер старший, Георгий Алексеевич. Мгновенная смерть от инсульта -- тогда это называлось апоплексическим ударом - случилась душным днем прямо на улице.

Дмитриев помнил отца плохо, отрывочно. Помнил -- темные усы и борода, очки в золотых ободках, очень тонкая и мягкая на ощупь желтоватенькая чесучовая рубашка в табачных крошках, толстый живот под ней и всегдашний, надо всем, всеми, смешок. Георгий Алексеевич был инженером-путейцем, но всю жизнь мечтал оставить эту работу и заняться сочинением юмористических рассказиков. Ему казалось, что в этом его призвание. Всегда он ходил с записной книжечкой в кармане. Дмитриеву запомнилось, как быстро и легко сочинял отец смешные истории -- шли вечером на огород поливать огурцы и увидели, как Марья Петровна, тетка одного красного партизана, пытается сбить с сосны мячик своего внука Петьки. Сначала бросила палку, палка застряла на сосне, тогда стала кидать туфлю, туфля тоже застряла. Пока дошли до огорода, отец рассказал Дмитриеву уморительную сказку о том, как Марья Петровна

забросила на сосну вторую туфлю, потом кофту, пояс, юбку, все это висело на сосне, а Марья Петровна голая сидела внизу, потом прибежал дядя Матвей, тоже стал кидать ботинки, штаны. А через несколько дней отец приехал из города и привез журнал, где был напечатан рассказ "Мячик". Над братьями Георгий Алексеевич подсмеивался, считал их недалекими, звал в шутку "колунами". Сам он окончил университет, а братья даже в гимназии не успели доучиться: завертела гражданская война, кинула одного на Кавказ, другого -- на Дальний Восток. Иногда удивлялся, разговаривая с матерью: "И как это таких людей за границу посылают, когда они ни бе ни ме ни по-каковски?" Еще корил братьев за жадность, за сытую жизнь, издевался над китайскими костяшками, над вечной по выходным дням автомобильной возней -- братнин "опель" называл не иначе как с буквы "ж". А в Козлове родные тетки голодали, мерли одна за другой, племянникам не на что было приехать в Москву. Один Георгий Алексеевич помогал как мог.

Ссоры между братьями бывали большие -- месяцами ни он к ним, ни они к нему. Мать считала, что в ссорах и во всех последующих несчастьях братьев виноваты были жены, Марьянка и Райка, зараженные мелкобуржуазным мещанством, но потом им, беднягам, тоже пришлось несладко.

Вообще отец был лучше, умнее братьев, человек неплохой. Только неудачливый. Рано умер, ничего не успел. Что сохранилось от его записных книжек, в которых было столько смешного, прекрасного? Книжечки исчезли, как и все остальное. Как исчезла Райка, жена Николая Алексеевича, бывшая когда-то красавицей и самой большой модницей поселка Красных партизан. Как исчез песчаный откос на берегу реки, где по утрам, очень рано, бывал отличный клев. После восьми рыба уходила отсюда -- между причалом и деревней начинал тарыхтеть речной трамвайчик, появлялись моторные лодки. Надо было переезжать на другой берег; там были тихие бухточки, где пряталась рыба, но в солнцепек сидеть было невыносимо -- ни дерева, ни куста, голый луг в жесткой траве.

Дмитриев неожиданно выскочил из троллейбуса на одну остановку раньше, чем нужно. Захотелось подойти к тому месту, где был когда-то его любимый откос. Он знал, что там сейчас бетонированная набережная, но рыбаки приходят все равно. Новые рыбаки из пятиэтажных домов, что за мостом. Им очень удобно -подъезжают на троллейбусе.

Он спустился по каменным ступеням -- все было сделано фундаментально, как в парке культуры, -- и прошел низом по бетонным плитам, возвышавшимся метра на два над уровнем воды. Так, вдоль реки, можно было дойти почти до самого дома. Теперь уже берег не поползет. Каждую весну здесь рушились ломти берега, иногда прямо со скамейками, с соснами.

На мокрых плитах блестело небо и не видно было ни одного дурака. Хотя нет, вдалеке сидел кто-то скрюченный, и Дмитриев медленно пошел к нему. Вода казалась очень чистой, незамусоренной, но темной -- осенняя вода. Дмитриев остановился за спиной рыболова и стал глядеть на поплавок. Он глядел минут пять, со все большей тревогой и каким-то внезапным ослаблением духа, думая о том, как тяжело будет говорить. Невозможно тяжело. И с Лорой тоже. Может быть, с Лорой даже тяжелей, чем с матерью. Что же делать? Они все, конечно, поймут. Впрочем, мать может и не понять -- если представить дело именно так, как предлагает Лена, мать же очень простодушна,-- но Лора-то поймет сразу, Лора хитра, прозорлива и очень не любит Лену. Если мать при всем неприятии Лены все же с нею смирилась, научилась чего-то не замечать, что-то прощать, то Лора с годами твердеет в неприязни -- из-за матери. Она сказала однажды: "Не знаю, каким надо быть человеком, чтобы относиться к нашей матери без уважения". Верно, Ксению Федоровну любят друзья, уважают сослуживцы, ценят соседи по квартире и по павлиновской даче, потому что она доброжелательна, уступчива, готова прийти на помощь и принять участие. Но Лора не понимает... Ах, она не понимает, не понимает! Лора

так и не научилась заглядывать немного глубже того, что находится на поверхности. Ее мысли никогда не гнутся. Всегда торчат и колются, как конский волос из плохо сшитого пиджака. Как же не понимать, что людей не любят не за их пороки, а любят не за их добродетели!

Все правда, истинная правда: мать постоянно окружают люди, в судьбе которых она принимает участие. В ее комнате подолгу живут какие-то пожилые полужнакомые люди, друзья Георгия Алексеевича, и еще более ветхие старухи, друзья деда, а то и случайные приятельницы по домам отдыха, желающие попасть к московским врачам, или провинциальные девочки и мальчики, дети отдаленных родственников, приехавшие поступать в институты. Всем мать старается помогать совершенно бескорыстно. Хотя где там -- помогать! Связи давно порастеряны, и сил нет. Но все-таки -- кровом, советом, сочувствием. Очень любит помогать бескорыстно. Пожалуй, точнее так: любит помогать таким образом, чтобы, не дай бог, не вышло никакой корысти. Но а этом-то и была корысть: делая добрые дела, все время сознавать себя хорошим человеком. И Лена, учуяв маленькую слабость матери, в минуты раздражения говорила про нее Дмитриеву: ханжа. А он приходил в ярость. Орал: "Кто ханжа? Моя мать ханжа? И ты посмела сказать..." И -- начиналось, катилось... Ни мать, ни Лора не знали, как он буйствует из-за них. Кое о чем они, конечно, догадывались и кое-чему бывали свидетелями, по в полной мере -- со всем набором оскорблений, с плачем Наташки, неразговором в течение нескольких дней, а порой даже легким рукоприкладством -- это было им неизвестно. Они считали, особенно твердо считала Лора, что он их тихонько предал. Сестра сказала как-то: "Витька, как же ты олукаялся!" Лукьяновы - фамилия родителей Лены.

Дмитриев вдруг решил, что надо продумать что-то важное, последнее. Не было сил идти в дом, и он оттягивал минуту.

Он сел неподалеку от рыбака на деревянный ящик -- тоже рыбацкая чья-то принадлежность, -- лежавший тут давно, побуревший и насквозь сырой. Как только Дмитриев сел, ящик стал мягко крениться, и пришлось очень крепко упереться ногами, чтоб удержать равновесие. На противоположном берегу, где когда-то был луг, теперь устроили громадный пляж с балаганами, ларьками. Лежаки были сложены штабелями, но два лежака до сих пор почему-то стояли у самой воды, смутно голубея на темно-сером песке. Все на том берегу было темно-серого, цементного цвета. За пляжем курчавилась молодая роща берез, насаженная лет десять назад, а за рощей туманно-белыми глыбами высились горы жилья, среди которых стояли две особенно высокие башни. Все изменилось на том берегу. Все "олукьянилось". Каждый год менялось что-то в подробностях, но, когда прошло четырнадцать лет, оказалось, что все олукаянилось -- окончательно и безнадежно. Но, может быть, это не так уж плохо? И если это происходит со всем -- даже с берегом, с рекой и с травой, -- значит, может быть, это естественно и так и должно быть?

Первый год Дмитриеву и Лене пришлось жить в Павлинове. Лора, тогда еще без Феликса, жила в Москве с Ксенией Федоровной, дача пустовала, а Дмитриеву и Лене хотелось побыть одним. Но это все равно не удалось. Дачная квартира в Павлинове давно пришла в запустение. Протекала крыша, прогнило крыльцо. Больше всего забот доставляла канализационная яма -- то и дело переполнялась, особенно с дождями, и невыносимая вонь распространялась по участку, мешаясь с запахом сирени, лип и флоксов. Жители давно смирились с этим переплетением запахов, который сделался для них неизбежной принадлежностью дачной жизни, и с мыслью о том, что ремонт ямы безнадежен, стоит баснословные деньги, каких ни у кого нет. Поселок-то обеднял, жители стали не те, что прежде, -- бывшие владельцы перемерли, сгинули кто куда, а их наследники, вдовы и дети, жили довольно трудной и вовсе не дачной жизнью. Петька, например, внук Марьи Петровны и сын красного профессора, работал простым грузчиком на лесоторговой базе. А Валерка, сын Василия Алексеевича, двоюродный

брат Дмитриева, сошелся со шпаной, стал вором и пропал где-то в лагерях. Иные из наследников, утомившись дачными поборами и заглядывая вперед -- город-то надвигался,- продали свои пай, и в поселке появились вовсе чужие люди, не имевшие к красным партизанам никакого отношения. И только березы и липы, посаженные сорок лет назад отцом Дмитриева, страстным садоводом, выросли мощным лесом, сомкнулись листвой и горделиво оповещали прохожих, заглядывавших через забор, о том, что все в поселке кипит, цветет и произрастает, как должно.

И вдруг Иван Васильевич Лукьянов, отец Лены, который заехал проведать молодых и погостить денек, сказал, что Калугин, водопроводный мастер, чинивший трубы в поселке в течение тридцати лет, жулик и негодяй и что он вкуче с ассенизаторами, приглашаемыми регулярно для откачки ямы, грабит красных партизан и что ремонт ямы можно произвести быстро и недорого. Все были ошеломлены. Собрали деньги. Иван Васильевич привез рабочих, и через неделю ремонт был закончен. Наследники красных партизан очень боялись, что Калугин, разобидевшись, покинет их поселок, бросит на произвол судьбы, но Иван Васильевич сделал как-то так, что старый пьянчужка ни на кого не обиделся, а к Ивану Васильевичу даже проникся почтением -стал Называть его "Василия".

Лора с ее манерой высказываться прямолинейно заметила тогда, что это, наверно, потому, что Калугин почуял в Иване Васильевиче родного человека. Где он нанял рабочих? Откуда достал кирпич? Цемент? Ясно, что слева. Путиами не очень благородными. Мать была возмущена. "Откуда ты знаешь? Какое у тебя право так грубо, бездоказательно наговаривать на людей?" -- "Ну, не знаю, не знаю, мама. Может быть, я ошибаюсь.-- Лора таинственно улыбалась.-- Это просто предположение. Поглядим..."

А Иван Васильевич был действительно человек могучий. Главной его силой были связи, многолетние знакомства. Через полгода он поставил телефон на павлиновской даче. По профессии Иван Васильевич был кожевенником, начинал когда-то у хозяина в городе Кирсанове, но уже с 1926 года, когда его выдвинули на директора фабрики -- маленькой, реквизируемой у нэпмана фабрички на Марьиной роще,-- он двинулся по линии административной. Когда Дмитриев познакомился с ним, Иван Васильевич был уже сильно стар, грузен, страдал одышкой, пережил инфаркт, всяческие невзгоды и бури вроде снятия с работы, партийных взысканий, восстановлений, назначений с повышением, клевет и наветов разных мерзавцев, норовивших его погубить, но, как признавался сам, "в отношении этих моментов спасался только одним: был начеку".

Привычка к постоянному недоверию и неусыпному бдению втерлась в его натуру настолько, что Иван Васильевич проявлял ее повсюду, по малейшим пустякам. Спросит, например, Дмитриева вечером перед сном: "Виктор, вы крючок на дверь накинули?"-"Да",-- ответит Дмитриев и слышит, как тесть шлепает по коридору к двери проверять. (Это было уже после, когда жили на лукьяновской квартире в городе.) Иногда Дмитриева так разопрет, что он крикнет: "Иван Васильевич, да зачем же вы спрашиваете, ей-богу?" -- "А вы не обижайтесь, золотой человек, это я автоматически, без злого умысла". Забавно было, что таким же недоверием ко всем и каждому -- и в первую очередь к людям, живущим бок о бок,-- была заражена и Вера Лазаревна. Иногда позвонит откуда-нибудь по телефону, спросит Лену. Дмитриев ответит, что Лены нет. Через некоторое время снова звонок, и Вера Лазаревна, изменив голос, опять зовет Лену. А какие комические сцены разыгрывались иногда вечерами, когда тесть и теща поили друг друга лекарствами! "Что ты мне дал, Иван?" -"Я тебе дал то, что ты просила".-- "Ну, что, что именно? Произнеси!"-- "Ты просила, по-моему, дибазол".-- "Ты мне дал дибазол?"-- "Да".-- "Это точно?" -- "А почему ты подняла этот вопрос?" -- "Вот что: принеси, пожалуйста, обертку, из которой ты взял,-- мне почему-то кажется, что это не дибазол..."

Дмитриева такие разговоры, слышанные мимоходом, когда-то потешали, так же, как манера тестя выражаться: "В этом отношении, Ксения Федоровна, я вам скажу от себя следующую аксиому". Или вот эдакое: "Я никогда не был техническим исполнителем отца и от Елены требовал аналогичного". Посмеивались потихоньку. Мать называла нового родственника "ученый сосед" -- за глаза, разумеется,-- и считала его человеком недурным, в чем-то даже симпатичным, хотя, конечно, вовсе, к сожалению, не интеллигентным. И он и Вера Лазаревна были другой породы -- из "умеющих жить". Ну что ж, не так плохо породниться с людьми другой породы. Впрыснуть свежую кровь. Попользоваться чужим умением. Не умеющие жить при долгом совместном житье-бытье начинают немного тяготить друг друга -как раз этим своим благородным неумением, которым втайне гордятся.

Разве могли бы Дмитриев, или Ксения Федоровна, или кто-нибудь другой из дмитриевской родни организовать и повернуть так лихо ремонт дачи, как это сделал Иван Васильевич? Он и денег одолжил подо всю эту музыку. Дмитриев и Лена уехали в первое свое лето на тор. Когда вернулись в августе, старые комнатки было не узнать -- полы блестели, рамы и двери сверкали белизной, обои во всех комнатах были дорогие, с давленным рисунком, в одной комнате зеленые, в другой синие, в третьей красновато-коричневые. Правда, мебель среди этого блеска стояла прежняя, убогая, купленная еще Георгием Алексеевичем. Раньше было незаметно, а сейчас бросалось в глаза; до чего ж бедность! Какие-то железные сетки на козлах вместо кроватей, столы и шкафы из крашеной фанеры, плетеный топчан, еще что-то плетеное, ветхое до невозможности. Из большой комнаты с зелеными обоями, где расположились молодые, Лена всю рухлядь, конечно, вынесла и купила несколько вещей самых простых, но новых: матрац на ножках, ученический письменный столик, два стула, лампу, занавеску, а из других комнат принесла два ковра, старых, Но очень хороших, бухарских, один на стену, другой на пол. Дмитриев удивлялся: как все чудесным образом изменилось! Даже матери говорил: "Смотри, какой у Лены вкус! Мы столько лет жили и ни разу не догадались повесить этот ковер на стену. Нет, у нее очень тонкий вкус!"

В средней комнате, синей, поселились временно, на август и сентябрь, чтоб помочь Леночке, уже ждавшей ребенка, Вера Лазаревна и Иван Васильевич, а в маленькой, красновато-коричневой, жила Ксения Федоровна и изредка останавливалась Лора. У Лоры начался тогда ее нудный роман с Феликсом, ей было не до дачи. Был еще жив дед, отец Ксении Федоровны, тоже приезжал иногда погостить -- спал в проходной комнате на топчане. Чудно вспоминать. Неужто было так: сидели все вместе на веранде за большим столом, пили чай, Ксения Федоровна разливала, Вера Лазаревна нарезала пирог? И Лору когда-то называла Лорочкой и устраивала ей своих лучших портних? Было, наверно. Было, было. Только не осталось в памяти, пронеслось мимо, провалилось, потому что ничем не мог жить, никого не видел, кроме Лены. Был юг, духота, жаркий Батум, старуха Властопуло, у которой снимали комнату рядом с базаром, какой-то абхазец, с кем он дрался из-за Лены на ночной набережной, абхазец пытался всучить Лене записку в ресторане; сидели без денег на одних огурцах, телеграфировали в Москву, Лена лежала без сил голая и черная на простыне, а он бегал продавать фотоаппарат. И потом все это продолжалось, хотя было другое, Москва, он уже работал -- летело с разгона одно дикое лето, -- опять Лена лежала мулаткой на простыне, опять были купания почти ночью, заплывы на тот берег, остывающий луг, разговоры, открытия, неутомимость, гибкость, ничего не стыдящиеся пальцы, губы, всегда готовые к любви. И между прочим: чертовская наблюдательность! Ого, она так умела подметить слабое или смешное! И ему все нравилось, он всему поражался, удивлялся про себя, отмечал.

В средней комнате, синей, поселились временно, на август и сентябрь, чтоб помочь Леночке, уже ждавшей ребенка, Вера Лазаревна и Иван Васильевич, а в маленькой, красновато-коричневой, жила Ксения Федоровна и изредка останавливалась Лора. У Лоры начался тогда

ее нудный роман с Феликсом, ей было не до дачи. Был еще жив дед, отец Ксении Федоровны, тоже приезжал иногда погостить -- спал в проходной комнате на топчане. Чудно вспоминать. Неужто было так: сидели все вместе на веранде за большим столом, пили чай, Ксения Федоровна разливала, Вера Лазаревна нарезала пирог? И Лору когда-то называла Лорочкой и устраивала ей своих лучших портних? Было, наверно. Было, было. Только не осталось в памяти, пронеслось мимо, провалилось, потому что ничем не мог жить, никого не видел, кроме Лены. Был юг, духота, жаркий Батум, старуха Властопуло, у которой снимали комнату рядом с базаром, какой-то абхазец, с кем он дрался из-за Лены на ночной набережной, абхазец пытался всучить Лене записку в ресторане; сидели без денег на одних огурцах, телеграфировали в Москву, Лена лежала без сил голая и черная на простыне, а он бегал продавать фотоаппарат. И потом все это продолжалось, хотя было другое, Москва, он уже работал -- летело с разгона одно дикое лето, -- опять Лена лежала мулаткой на простыне, опять были купания почти ночью, заплывы на тот берег, остывающий луг, разговоры, открытия, неутомимость, гибкость, ничего не стыдящиеся пальцы, губы, всегда готовые к любви. И между прочим: чертовская наблюдательность! Ого, она так умела подметить слабое или смешное! И ему все нравилось, он всему поражался, удивлялся про себя, отмечал.

Ему нравилась легкость, с которой она заводила знакомства и сходилась с людьми. Это было как раз то, чего не хватало ему. Особенно замечательно ей удавались нужные знакомства. Едва поселившись в Павлинове, она уже знала всех соседей, начальника милиции, сторожей на лодочной станции, была на "ты" с молодой директоршей санатория, и та разрешала Лене брать обеды в санаторской столовой, что считалось в Павлинове верхом комфорта и удачей, почти недостижимой для простых смертных. А как она отчесала Нижнюю Дусю, жившую в полуподвале, когда та с обычной наглостью явилась требовать, чтобы очистили их собственный, дмитриевский, сарай, которым, правда, Нижняя Дуся пользовалась самостоятельно последние десять лет! Нижняя Дуся так и слетела с крыльца, как будто ее ветром сшибло. Дмитриев восхищался, шептал матери: "Ну, как? Это не то что мы с тобой, мямли?" Но все его тайные восторги скоро сами собой отпали, потому что он уже знал, что нет и не может быть женщины красивее, умнее и энергичнее Лены. Поэтому -- чего же восхищаться? Все было естественно, в порядке вещей. Ни у кого не было такой мягкой кожи, как у Лены. Никто не умел так увлекательно читать романы Агаты Кристи, тут же переводя с английского на русский. Никто не умел любить его так, как Лена. А сам Дмитриев -- тот далекий, худой, с нелепым кудрявым чубом -- жил оглушенный и одурманенный, как бывает в жару, когда человек плохо соображает, не хочет ни есть, ни пить и только дремлет, валяется в полусне на кровати в комнате с занавешенными окнами.

Но однажды вечером, в конце лета, Лора сказала: "Витька, на два слова..." Они спустились с крыльца на дорожку и, пока были в квадрате света, падавшего с веранды, шли молча, а как только вошли в тень, под липы, Лора, неуверенно засмеявшись, сказала: "Вить, я хочу поговорить о Лене, можно? Ничего особенного, не пугайся, это пустяки. Ты знаешь, я отношусь к ней очень хорошо, она мне нравится, но главное для меня то, что ты ее любишь". Это вступление его сразу задело, потому что главное было вовсе не то, что он ее любил. Она была прекрасна безотносительно к нему. И, уже настороженный, стал слушать дальше.

"Меня просто удивляют некоторые вещи. Наша мать никогда сама не скажет, но я вижу... Витька, ты не обидишься?"-- "Нет, нет, что ты! Говори"-- "Ну, это действительно вздор, чепуха -- то, что Лена, например, забрала все наши лучшие чашки, и то, что она ставит ведро возле двери в мамину комнату..." ("Господи! -- подумал он.-- И это говорит Лорка!") "Я не замечал,-- сказал он вслух.-- Но я скажу ей"-- "Не надо, не надо! И не надо было тебе замечать.-- Лора опять как-то сконфуженно засмеялась.-- Еще не хватало замечать тебе всякий вздор! Но я ругала маму. Почему просто не сказать: "Леночка, нам нужны чашки, и не ставьте,

пожалуйста, ведро здесь, а ставьте там". Я сегодня так сказала, и она, по-моему, на меня вовсе не обиделась. Хотя говорить о таких мелочах, поверь, очень неприятно. Но меня покорило другое -- она зачем-то сняла портрет папы из средней комнаты и повесила его в проходную. Мама очень удивилась. Вот об этом должен знать ты, потому что это не бытовая какая-то мелочь, а другое. По-моему, просто бестактность". Лора замолчала, и некоторое время они шли, не говоря ни слова. Дмитриев проводил раскрытой ладонью по кустам спиреи, чувствуя, как колются мелкие острые веточки. "Ну, пожалуйста! -- сказал он наконец.-- Насчет портрета я скажу. Только вот что: а если б ты Лорхен, попала в чужой дом? Не делала ли бы ты каких-нибудь невольных бестактностей, промахов?" -- "Возможно. Но не в таком роде. В общем, надо не молчать, а говорить -- я думаю, что правильно -- и тогда все образуется".

Он сказал Лене насчет портрета не в этот вечер, а наутро. Лена была удивлена. Она сняла портрет только потому, что нужен был гвоздь для настенных часов, и никакого иного смысла в этом поступке не было. Ей кажется странным, что о такой совершеннейшей ерунде Ксения Федоровна не сказала ей сама, а посылает послом Виктора, чем придает ерунде преувеличенное значение. Он заметил, что Ксения Федоровна с ним вовсе об этом не говорила. А кто же говорил? Тут он брякнул по глупости - сколько по глупости будет "брякнуто" потом! -- что говорила Лора. Лена, покраснев, сказала, что его сестра взяла, по-видимому, на себя роль делать ей замечания: то самостоятельно, то через третьих лиц.

Когда Дмитриев вернулся в этот день из города, в квартире было необычно тихо. Лена не вышла его встречать сразу, а появилась через минуты две и задала ненужный вопрос: "Тебе разогревать обед?" Лора уехала в Москву. Мать не выходила из своей комнаты. Затем появилась Вера Лазаревна, одетая по-городскому, напудренная, с бусами на мощно выдававшемся вперед бюсте, и сказала, улыбаясь, что они с Иваном Васильевичем благодарят за гостеприимство и ждали его, чтоб попрощаться. Иван Васильевич сейчас приедет с машиной. В открывшуюся на миг дверь Дмитриев увидел, что портрет отца висит на прежнем месте. Он поинтересовался: почему же так вдруг? Хотели жить весь сентябрь. Да, но возникли дела -- у Ивана Васильевича на работе, а у нее -- домашние, надо варить варенье, и вообще-- дорогие гости, не надоели ли вам... Ксения Федоровна вышла попрощаться с родственниками -- вид у нее был обескураженный,-- приглашала приезжать еще. Вера Лазаревна не обещала. "Боюсь, что не удастся, милая Ксения Федоровна. Уж очень много всевозможных забот. Нас столько друзей хотят видеть, зовут, тоже на дачу..."

Они уехали, а Дмитриев с Леной пошли на соседнюю дачу играть в покер. Поздно ночью, когда Дмитриев вернулся, Ксения Федоровна зазвала его в свою комнату в красновато-кирпичных обоях и сказала, что у нее скверное настроение и она не может заснуть из-за этой истории. Он не понял: "Какой истории?" -- "Ну вот из-за того, что они уехали".

Дмитриев выпил у соседей две рюмки коньяку, был слегка взвинчен, неясно соображал и, махнув рукой, сказал с досадой: "Ах, чепуха, мать! Стоит ли говорить?" -- "Нет, все же Лора невыдержанная. Зачем она все это затеяла? И ты зачем-то передал Лене, та -- своей матери, тут был глупейший разговор... Полная нелепость!" -- "А потому, что не перевешивайте портретов! -сказал Дмитриев, твердея голосом и со строгостью покачивая пальцем. Вдруг он ощутил себя в роли семейного арбитра, что было даже приятно.-- Ну и уехали, ну и на здоровье. Ленка не сказала мне абсолютно ничего, ни единого слова. Она же умная баба. Так что не волнуйся и спи спокойно". Он чмокнул мать в щеку и ушел.

Но когда пришел к Лене и лег рядом с ней, она отодвинулась к стене и спросила, зачем он заходил в комнату к Ксении Федоровне. Почуввав какую-то опасность, он начал темнить, отнекиваться, говорил, что устал и хочет совсем другого, но Лена, действуя то строгостью, то лаской, все же выудила из него то, что ей нужно было узнать. Она сказала затем, что ее

родители очень гордые люди. Особенно горда и самолюбива Вера Лазаревна. Дело в том, что она всю жизнь ни от кого не зависела, поэтому малейший намек на зависимость воспринимает болезненно. Дмитриев подумал: "Как же не зависела, когда она никогда не работала и жила на иждивении Ивана Васильевича?"-но вслух не сказал, а спросил, чем ущемили независимость Веры Лазаревны. Оказывается, когда Лена передала Вере Лазаревне разговор насчет портрета, та просто ахнула: боже, говорит, неужели они подумали, что мы можем претендовать на эту комнату? Дмитриев что-то ничего уж не понимал:

"Как претендовать? Почему претендовать?" Кроме того, ему хотелось другого. Кончилось тем, что Лена заставила его пообещать, что он завтра же с работы позвонит Вере Лазаревне и мягко, деликатно, не упоминая ни о портрете, ни об обидах, пригласит в Павлиново. Они, конечно, не приедут, потому что люди очень гордые. Но позвонить нужно. Для очистки совести.

Он позвонил. Они приехали на другой день. Почему вспомнилась эта древняя история? Потом было много похуже и почерней. Но, наверное, потому, что первая, она отпечаталась навеки. Он помнил даже, в каком пальто была Вера Лазаревна, когда приехала на другой день и с видом непоколебленного достоинства -- гордо и самолюбиво глядя перед собой -подымалась по крыльцу, неся в правой руке коробку с тортом.

Потом были истории с дедом. Той же осенью, когда Лена ждала Наташку. Ах, дед! Дмитриев не видел деда много лет, но с каких-то давних, безотчетных времен тлея в сердце эта заноза -- детская преданность. Старик был настолько чужд всякого лужьяноподобия -- просто не понимал многих вещей,-- что было, конечно, безумием приглашать его на дачу, когда там жили эти люди. Но никто тогда еще ничего не понимал и не мог предвидеть. Деда пригласить было необходимо, он недавно вернулся в Москву, был очень болен и нуждался в отдыхе. Через год он получил комнату на Юго-Западе.

Дед говорил, изумляясь, Дмитриеву: "Сегодня приходил какой-то рабочий перетягивать кушетку, и твоя прекрасная Елена и не менее прекрасная теща дружно говорили ему "ты". Что это значит? Это так теперь принято? Отцу семейства, человеку сорока лет?" В другой раз он затеял смешной и невыносимый по нудности разговор с Дмитриевым и Леной из-за того, что они дали продавцу в радиомагазине -- и, веселясь, рассказывали об этом -пятьдесят рублей, чтобы тот отложил радиоприемник. И Дмитриев ничего не мог деду объяснять. Лена, смеясь, говорила: "Федор Николаевич, вы монстр! Вам. никто не говорил? Вы хорошо сохранившийся монстр!" Дед был не монстр, просто был очень стар -- семьдесят девять, -- таких стариков осталось в России немного, а юристов, окончивших Петербургский университет, еще меньше, а тех из них, кто занимался в молодости революционными делами, сидел в крепости, ссылался, бежал за границу, работал в Швейцарии, в Бельгии, был знаком с Верой Засулич,-- и вовсе раз-два -- и обчелся. Может быть, в каком-то смысле дед и был монстр.

И какие у него могли находиться разговоры с Иваном Васильевичем и Верой Лазаревной? Как ни тужились обе стороны, ничего общего не подыскивалось. Ивана Васильевича и Веру Лазаревну прошлое деда не интересовало начисто, а в современной жизни дед смыслил настолько мало, что тоже не мог сообщить ничего полезного, поэтому они относились к нему безучастно: старичок старичком. Шаркает по веранде, чадит дешевыми вонючими папиросками. Вера Лазаревна обыкновенно разговаривала с дедом насчет курения.

Дед был маленького роста, усохший, с сизовато-медной дубленой кожей на лице, с корявыми, изуродованными тяжелой работой, негнушимися руками. Всегда аккуратно одевался, носил рубашки с галстуком. Ботиночки свои мальчишковые, сорокового размера, начищал до блеска и

любил гулять по берегу. Было какое-то воскресенье, последнее теплое в сентябре, когда собрались все на прогулку,-- давно уже возникла натуга в разговорах -- никому эта вылазка была не нужна, но как-то так сошлось: собрались одновременно и побрели вместе.

Народу в тот день было полным-полно. Толклись в лесочке, по берегу, обсели все скамейки: кто в спортивных костюмах, кто в пижамах, с детьми, собачками, гитарами, поллитрами на газетке. И Дмитриев стал иронизировать над нынешними дачниками: шут, мол, знает, что за публика. А до войны, помнится, гуляли тут вдакие с бородками, в пенсне,.. Вера Лазаревна неожиданно его поддержала, сказав, что Павлиново и до революции было чудесное дачное местечко, она девочкой бывала здесь у своего дяди. Ресторан был с цыганами, назывался "Поречье", его сожгли. Вообще жилали солидные люди: биржевые игроки, коммерсанты, адвокаты, артисты. Вон там на просеке шалыпинская дача стояла.

Ксения Федоровна поинтересовалась: кто был дядя? На что Вера Лазаревна ответила: "Мой папа был про-стой рабочий-скорняк, но очень хороший, квалифицированный скорняк, ему заказывали дорогие работы..." -- Мамочка!-- засмеялась Лена.-- Тебя о дяде спрашивают, а ты рассказываешь про отца". Дядя, как выясни-лось, имел магазин кожаных изделий: сумки, чемоданы, портфели. На Кузнецком, на втором этаже, где сейчас магазин женской одежды. Там и во время нэпа был магазин кожаных изделий, но уже не дядин, потому что дядя в девятнадцатом году, в голодное время, куда-то пропал. Нет, не сбежал, не умер, а просто куда-то пропал. Иван Васильевич прервал супругу, заметив, что ати данные автобиографии мало кому интересны.

И тут дед, до того молчавший, вдруг заговорил, обращаясь к Дмитриеву: "Так, милый Витя, представь себе, если б дядя твоей тещи дожил до тех времен, когда тут гуляли бородки и пенсне, что бы он сказал? Наверно бы: ну и публика, мол, теперь в Павлинове! Какая-то шпана в толстовках, в пенсне... А? Так ли? А еще раньше тут именье было, помещик разорился, дом продал, землю продал, и лет полета тому какой-то наследник заскочил бы сюда мимоездом, для печального интереса, глядел на купчих, на чиновниц, на господ в котелках, на дядюшку вашего,-- дед поклонился Вере Лазаревне,-- который прикатил на извозчике, и думал: "Фу, гадость! Ну и дрянь народишка!" А? -- засмеялся.-Так ли?"

Вера Лазаревна заметила с некоторым удивлением: "Не понимаю, почему -- дрянь? Зачем же так говорить?" Тогда дед объяснил: презрение -- это глупость. Не нужно никого презирать. Он сказал это для Дмитриева, и тот вдруг подумал, что дед в чем-то прав. В чем-то, близко касающемся его, Дмитриева. Все немного задумались, затем Ксения Федоровна сказала, что нет, она не может согласиться с отцом. Если мы откажемся от презрения, мы лишим себя последнего оружия. Пусть это чувство будет внутри нас и абсолютно невидимо со сюрены, но оно должно быть. Тогда Лена, усмехаясь, сказала: "А я совершенно согласна с Федором Николаевичем. Сколько людей кичатся непонятно чем, какими-то мифами, химерами. Это так смешно!"-- "Кто именно и чем кичится?" -- спросил Дмитриев в полушутливом тоне, хотя направление разговора стало его слегка тревожить. "Мало ли!-сказала Лена.-- Все тебе знать..." -- "Кичливость, Леночка, и спокойное презрение -- вещи разные", -- произнесла Ксения Федоровна, улыбаясь. "Ну, это смотря откуда глядеть,-- ответила Лена).-- Вообще я ненавижу гонор. По-моему, нет ничего отвратительнее".-- "Вы говорите таким тоном, будто я доказываю, что гонор -- это нечто прекрасное. Я тоже не люблю гонор".--"Особенно, когда для него нет оснований. А так, на пустом месте..."

И вот отсюда, с невинного препирательства, возрос тот разговор, который завершился ночным сердечным припадком у Лены, вызовом неотложки, криками Веры Лазаревны об эгоизме и жестокосердии, их поспешным отъездом на такси утром, а затем отъездом Ксении Федоровны и тишиной, наступившей на даче, когда остались двое: Дмитриев и старик. Они гуляли у озера,

подолгу говорили. Дмитриеву хотелось разговаривать с дедом о Лене-- ее отъезд мучил его,-- ругать ее за вздорность, родителей за идиотизм, а может быть, проклинать себя, как-то терзать эту рану, но дед не произнес ни о Лене, ни об ее родителях ни слова. Он говорил о смерти и о том, что не боится ее. Он выполнил то, что ему было назначено в этой жизни, вот и все. "Боже мой,-- думал Дмитриев,-- как же она там? А вдруг это серьезно, с сердцем?"

Дед говорил о том, что все, что позади, вся его бесконечно длинная жизнь, его не занимает. Нет глупее, как искать идеалы в прошлом. С интересом он смотрит только вперед, но, к сожалению, он увидит немного.

"Звонить или нет? -- думал Дмитриев.-- Все же, какое бы ни было состояние, это не дает права..." Он позвонил вечером. Дед умер через четыре года. Дмитриев приехал в крематорий прямо с работы и выглядел глупо со своим толстым желтым портфелем, в котором лежало несколько банок сайры, купленных случайно на улице. Лена очень любила сайру. Когда вошли со двора в помещение крематория, Дмитриев быстро прошел направо и поставил портфель на пол в углу, за колонной, так, чтоб его никто не видел. И мысленно твердил: "Не забыть портфель, не забыть портфель". Во время траурной церемонии он несколько раз вспоминал о портфеле, поглядывал на колонну и в то же время думал о том, что смерть деда оказалась не таким уж ужасным испытанием, как он предполагал. Было очень жалко мать. Ее поддерживали под руку с одной стороны тетя Женя, с другой -Лора, и лицо матери, белое от слез, было какое-то новое: очень старое и детское одновременно.

Лена тоже пришла, сморкалась, терла глаза платком, когда наступил миг прощания, вдруг громким низким голосом зарыдала и, вцепившись в руку Дмитриева, стала шептать о том, какой дед был хороший человек, самый лучший из всей дмитриевской родни, и как она его любила. Это была новость. Но Лена рыдала так искренне, на глазах ее были настоящие слезы, и Дмитриев поверил. Ее родители тоже появились в последнюю минуту, в черных пальто, с черными зонтами, у Веры Лазаревны была даже черная вуалька на шляпке, и они успели бросить в отплывавший в подземелье гроб букетик цветов. Потом Вера Лазаревна говорила с удивлением: "Как много людей-то было!" С этим и пришли, стариковским любопытством: поглядеть, много ли придет провожать. Пришло, к удивлению Дмитриева, много. И, главное, приползли откуда-то в немалом числе те, будто бы исчезнувшие, а нет, еще живые странные старики, старухи курильщицы с сердитыми сухими глазами, друзья деда, некоторых из них Дмитриев помнил с детства. Пришла одна горбатенькая старушка с совсем подслеповатым древним личиком, про которую мать когда-то говорила, что она отчаянная революционерка, террористка, бросала в кого-то бомбу. Эта горбатенькая и говорила речь над гробом. Во дворе, когда все вышли и стояли кучками, не расходясь, к Дмитриеву подошла Лора и спросила, поедут ли они с Леной к тете Жене, где соберутся близкие и друзья. До той минуты Дмитриев считал, что поедет к тете Жене непременно, но теперь заколебался: в самом вопросе Лоры заключалась возможность выбора. Значит, и Лора, и мать полагали, что он, если захочет, может не ехать, то есть что ему ехать не обязательно, ибо -- он вдруг это понял -- в их глазах он уже не существовал как частица семьи Дмитриевых, а существовал как нечто другое, объединенное с Леной и, может быть, даже с теми в черных пальто, с черными зонтами, и его надо было спрашивать, как постороннего.

Лена тоже пришла, сморкалась, терла глаза платком, когда наступил миг прощания, вдруг громким низким голосом зарыдала и, вцепившись в руку Дмитриева, стала шептать о том, какой дед был хороший человек, самый лучший из всей дмитриевской родни, и как она его любила. Это была новость. Но Лена рыдала так искренне, на глазах ее были настоящие слезы, и Дмитриев поверил. Ее родители тоже появились в последнюю минуту, в черных пальто, с черными зонтами, у Веры Лазаревны была даже черная вуалька на шляпке, и они успели

бросить в отплывавший в подземелье гроб букетик цветов. Потом Вера Лазаревна говорила с удивлением: "Как много людей-то было!" С этим и пришли, стариковским любопытством: поглядеть, много ли придет провожать. Пришло, к удивлению Дмитриева, много. И, главное, приползли откуда-то в немалом числе те, будто бы исчезнувшие, а нет, еще живые странные старики, старухи курильщицы с сердитыми сухими глазами, друзья деда, некоторых из них Дмитриев помнил с детства. Пришла одна горбатенькая старушка с совсем подслеповатым древним личиком, про которую мать когда-то говорила, что она отчаянная революционерка, террористка, бросала в кого-то бомбу. Эта горбатенькая и говорила речь над гробом. Во дворе, когда все вышли и стояли кучками, не расходясь, к Дмитриеву подошла Лора и спросила, поедут ли они с Леной к тете Жене, где соберутся близкие и друзья. До той минуты Дмитриев считал, что поедет к тете Жене непременно, но теперь заколебался: в самом вопросе Лоры заключалась возможность выбора. Значит, и Лора, и мать полагали, что он, если захочет, может не ехать, то есть что ему ехать не обязательно, ибо -- он вдруг это понял -- в их глазах он уже не существовал как частица семьи Дмитриевых, а существовал как нечто другое, объединенное с Леной и, может быть, даже с теми в черных пальто, с черными зонтами, и его надо было спрашивать, как постороннего.

"Вы поедете к тете Жене?" Вопрос был задан бегло, но как много он означал! И среди прочего: "Если бы ты был один, мы не стали бы спрашивать. Мы всегда хотим тебя видеть, ты знаешь. Но когда у нас горе, зачем нам чужие люди? Если можно, лучше обойтись без них. Если можно, но -- как ты хочешь..." Дмитриев сказал, что они, пожалуй, не поедут к тете Жене. "Почему? Ты поезжай!-- сказала Лена.-- Я себя неважно чувствую, а ты поезжай. Конечно, поезжай!" Нет, он не поедет, у Лены сильно болит голова. Лора понимающе кивнула, даже улыбнулась Лене с сочувствием и спросила, не дать ли ей таблетку. "Да! -- сказал Дмитриев.-- Я же забыл

такси, чтобы ехать домой.

Вместе с матерью, Лорой, Феликсом, тетей Женей и другими родственниками шел в удалявшейся толпе Левка Бубрик. Может быть, он приехал раньше, но Дмитриев заметил его, только когда вышли на двор. Левка был без шапки, черный, всклокоченный, слепо блестел очками. К Дмитриеву он не подошел, кивнул издали. Лена спросила шепотом: "Откуда здесь Бубрик?" Дмитриев, подавив в себе чувство неприятного удивления, сказал: "Ну как же? Он какой-то наш родственник, седьмая вода на киселе".

Впервые за несколько месяцев после той тягостной истории с институтом Дмитриев увидел Левку Бубрика. И сразу вспомнил, что покойный дед осуждал его за Левку. Был даже какой-то разговор, когда дед сказал: "Мы с Ксеньей ожидали, что из тебя получится что-то другое. Ничего страшного, разумеется, не произошло. Ты человек не скверный. Но и не удивительный".

А с Левкой были знакомы с детства, учились в одном институте. Не то что друзья "водой не разольешь", но связанные крепью домов и семей товарищи. Отец Левки, доктор Бубрик, лечивший Дмитриева еще в малолетстве, был братом мужа тети Жени, погибшего на войне. То есть Левка был неродным племянником тети Жени. Сразу после института Левка поехал в Башкирию и проработал там три года на промыслах, в то время как Дмитриев, который был постарше и на год раньше получил диплом, остался работать в Москве на газовом заводе, в лаборатории. Ему тоже предлагали разные заманчивые одиссеи, но согласиться было трудно. Мать очень хотела, чтоб он поехал в Туркмению, в Дарган-Тепе, потому что недалеко от родного Лориного Куня-Ургенча -- каких-нибудь шестьсот километров, пустяки! -брат с сестрой могли бы встречаться за пиалой кок-чая и сучать вместе по дому. Наташка родилась слабенькой, болела, Лена тоже болела, не было молока, нашли кормилицу Фросю, школьную

уборщицу, жившую в бараке на Таракановке, Дмитриев ездил к ней вечерами за бутылочками. Какой там Дарган-Тепе! Да и не было никакого Дарган-Тепе. Были грезы по утрам, в тишине, когда он просыпался с нечаянной бодростью и думал: "А хорошо бы..." И все представлялось так прозрачно, четко, как будто он поднимался ясным днем на гору и смотрел оттуда далеко вниз. "Витя,-- говорила Лена (или Витенька, если был период безмятежности и любви),-- зачем ты сбгя обманываешь? Ты же не можешь никуда от нас. Я не знаю, любишь ли ты нас, но ты не можешь, не можешь! Все кончено! Ты опоздал. Надо было раньше..." И, обняв, смотрела ему в глаза синими ласковыми глазами ведьмы. Он молчал, потому что это были его собственные мысли, которых он боялся. Да, да, он опоздал. Поезд ушел. Прошло уже четыре года с тех пор, как он окончил институт, потом прошло пять, семь, девять. Наташка стала школьницей. Английская спецшкола в Утином переулке, предмет вожделения, зависти, мерило родительской любви и расши-баемости в лепешку. Другой микрорайон, почти невысказано. И никому, кроме Лены, было бы не под силу. Ибо она вгрызалась в свои желания, как бульдог. Такая милостивая женщина-бульдог с короткой стрижкой соломенного цвета и всегда приятно загорелым, слегка смуглым лицом. Она не отпускала до тех пор, пока желания -- прямо у нее в зубах -- не превращались в плоть. Великое свойство! Прекрасное, изумительное, решающее для жизни. Свойство настоящих мужчин. "Ни в какие экспедиции. Не дольше, чем на неделю"-- это было ее желание. Бедное простодушное желание со вмятинами от железных зубов. Другим желанием Лены, которое ее занимало в течение нескольких лет, было -- устроиться в ИМКОИН. О, ИМКОИН, ИМКОИН, недостижимый, заоблачный, как Джомолунгма! Разговоры об ИМКОИНЕ, телефонные звонки насчет ИМКОИНА, слезливое отчаянье, вспышки надежды.

"Папа, ты разговаривал с Григорием Григорьевичем по поводу ИМКОИНА?" -- "Леночка, тебе звонили из ИМКОИНА!" - "Откуда?" "Из ИМКОИНА!" - "О боже мой, из отдела кадров или просто Зойка?" Две идеально устроенные в этой жизни приятельницы работали в ИМКОИНЕ -- Институте международной координированной информации. Наконец удалось. ИМКОИН стал плотью и хрустел на зубах как хорошо прожаренное куриное крылышко. Удобно, сдельно, прекрасно расположено-- в минуте ходьбы от ГУМ а,-- а прямой начальницей была одна из приятельниц, с которой вместе учились в институте. Приятельница давала переводить столько, сколько Лена просила. Потом-то они поссорились, но года три все было "о'кей". В обеденный перерыв бегали в ГУМ смотреть, не выбросили ли каких кофточек. По четвергам показывали иностранные фильмы на языках. Но подготовить диссертацию вместо Дмитриева Лена, к сожалению, не могла. Дмитриев получал тогда, в лаборатории, сто тридцать, а его институтский знакомец, однокурсник -- серый малый, но большой трудяга, хитрый Митрий, который во всем себе отказывал и даже не женился до норы,-- получал вдвое больше потому, что высидел свинцовым задом диссертацию. Лене страшно хотелось, чтобы Дмитриев стал кандидатом. Всем хотелось того же. Лена помогала в английском, мать одобряла, Наташка по вечерам разговаривала шепотом, а теща присмирела, но через полгода он сдался. Наверное, потому же: поезд ушел. Не хватало сил, каждый вечер он приходил с головной болью, с единственным желанием -- поскорей завалиться спать. Он и заваливался, если по телевизору не было чего-нибудь стоящего -- футбола или старой комедии. И, сдавшись, возненавидел всю эту муть с диссертацией, говорил, что лучше честно получать сто тридцать целковых, чем мучиться, надирать здоровье и унижаться перед нужными людьми. И Лена теперь тоже так считала и презрительно называла знакомых кандидатов дельцами, пройдохами. В это время, как нельзя более кстати -- а может, некстати,-- подкатился Левка Бубрик со своей просьбой насчет Института нефтяной и газовой аппаратуры, сокращенно ГИНЕГА.

Левка, возвратившись из Башкирии, долго не мог найти подходящей работы. И вот нашел ГИНЕГА. Но туда еще надо было попасть. Никогда бы ни Левка, никто другой не попал бы в ГИНЕГА, если бы Иван Васильевич не позвонил Прусакову. А потом даже поехал к Прусакову сам на казенной машине. Прусаков держал это место для кого-то другого, но Иван Васильевич

нажал, и Прусаков согласился. В конце концов не Левкин же тесть ездил к Прусакову, а дмитриевский! Правда, ради Левки. Это верно. Потому что Лена попросила отца, она жалела Левку и его жену, эту толстую клушу Инночку. Потом Инночка устроила хороший бенц в гостях общих друзей, кричала: "Ты жуткий человек!" Но Лена на все это пошла сознательно и держалась очень стойко и хладнокровно. Друзья говорили, что Лена держалась великолепно. Она все взяла на себя и говорила, что Дмитриев не хотел, но она настояла. "Виновата я, одна я, Витьку не вините! А вы бы хотели, чтоб мы жили на сто тридцать и Витька убивал три часа на дорогу?"

Конечно, так и было. Мысль пришла ей первой, когда Иван Васильевич приехал и рассказал, что за место. И Дмитриев действительно не хотел. Три ночи не спал) колебался и мучился, но постепенно то, о чем нельзя было и подумать, не то что сделать, превратилось в нечто незначительное, миниатюрное, хорошо упакованное, вроде облатки, которую следовало -- даже необходимо для здоровья -- проглотить, несмотря на гадость, содержащуюся внутри. Этой гадости никто ведь не замечает. Но все глотают облатки. "Я Леву уважаю,-- говорила Лена,-- и даже люблю, но почему-то моего мужа я люблю больше. И если уж папа, старый человек, который терпеть не может одолжаться, собрался и поехал..."

Надо было сказать им сразу, но не хватило духу -- тянули, отмалчивались. Они узнали стороной. И как отрезало: не приходили, не звонили. Черт их знает, может, они были и правы, но так тоже не делается: придите, поговорите по-хорошему, узнайте, как и почему. А когда встретились у друзей, Бубрик отвернул нос, а Инночка орала, как торговка на рынке. Ну что ж, наплевать и забыть. И только года через четыре или пять -- был день рождения Ксении Федоровны, зима, конец февраля -- вся эта история опять всколыхнулась. Мать с дедом и раньше пилили Дмитриева, но не очень злобно, потому что и вправду считали, что все завела Лена. А с Лены какой же спрос? С Леной приходилось мириться, как с дурной погодой. Но вот тогда, в день рождения матери...

Отчетливо, как сейчас: поднимаются по лестнице, остановились у двери. Наташка держит подарки, коробку конфет и книгу на английском языке Теккерера "Ярмарка тщеславия", а Лена прислонилась плечом к двери и, закрыв глаза, шепчет как бы про себя, но, конечно, для Дмитриева: "Ой, боже мой, боже мой, боже мой..." Вот, мол, на какие испытания иду ради тебя. И он начинает привычно закипать. Лена не любит ходить к свекрови. С каждым годом -- все больше через силу. Что поделаешь? Ну, не любит, не может, не выносит. Все ее раздражает. Как бы сладко ни кормили, как бы любезно ни разговаривали, бесполезно: все равно что отапливать улицу. Нарочно ласково Дмитриев говорит с дочкой, обняв ее: "Как, мартышка, довольна, что пришла к бабушке?" -- "Ага".-- "Любишь сюда ходить?"-- "Люблю!" А Лена, улыбаясь, добавляет: "Люблю, скажи, но я должна рано ложиться спать. И пусть папочка, скажи, не засиживается, чтоб не тащить его из-за стола силой. В половине, скажи, десятого встаем и едем".

Все бы обошлось тогда, если б не эта дура Марина, двоюродная сестра. Как увидел ее красную физиономию за столом над пирогами и вафлями, сразу понял: несдобровать. Лена гораздо умнее ее, но чем-то они схожи. И всегда, как встречаются на семейных сборах, затевается между ними какая-то петуховина. То спорят в открытую, а то пикируются хитро, так что со стороны и не заметишь. Вроде ватерполистов, которые бьют друг друга ногами под водой, чего зрители не видят. Ночью Дмитриева вдруг ошеломляли: "Почему твоя кухня весь вечер меня язвила?" -- "Как язвила?" -- "А ты не слышал?" -- "Что именно?" -- "Ну, хотя бы то, что она говорила насчет женщин Востока? Насчет их задов и ног?"-- "Позволь, но ты ведь, кажется, не женщина Востока?" -- "Ах, что с тобой говорить..."

И тогда, в феврале -- почему-то запомнилось до последнего слова,-- началось с невиннейшего, с подводных толчков. А запомнилось потому, что -- последний раз Лена в гостях у матери. С тех пор никогда. Уже лет пять ни разу. Ксения Федоровна заходит, навещает внучку, а Лена к ней -- нет. "Как поживаешь, Марина? У тебя все по-прежнему?" -- "Конечно! А как у тебя? Служишь все там же?" Эти фразы, сказанные с улыбкой и в рамках правил, означали на самом деле: "Ну, как, Марина, никто на тебя по-прежнему не клюнул? Я-то уверена, что никто не клюнул и никогда не клюнет, моя дорогая старая дева".-- "А меня это не волнует, потому что я живу творческой жизнью. Не то что ты. Ведь ты служишь, а я творю, живу творчеством". Марина работала тогда редактором в издательстве. Сейчас где-то на телевидении. "А что-нибудь хорошее вы издали за последнее время?" -- "Кое-что издали. Это у тебя что за материал? Брала в ГУМе?" И тут были упругие удары под водой: "О каком творчестве ты там лепечешь? Хоть одну хорошую книгу ты лично отредактировала, выпустила?" -- "Да, конечно. Но говорить с тобой об этом нет смысла потому, что тебя это не может интересовать. Тебя же интересует ширпотреб". Были какие-то споры о стихах, о всемирном мещанстве. Эту тему Марина очень любила, не упускала случая потоптать мещанство. У, мещане! Когда она клокотала по поводу тех, кто не признает Пикассо или скульптора Эрзю, во рту ее что-то клубилось и даже как будто сверкало.

Все ненавистное, что для Марины соединилось в слове "мещанство", для Лены было заключено в слове "ханжество". И она объявила, что "все это ханжество". "Ханжество?"-- "Да, да, ханжество".-- "Любить Пикассо ханжество?" -- "Разумеется, потому что те, кто говорят, что любят Пикассо, обычно его не понимают, а это и есть ханжество".-- "Бог мой! Держите меня! - хохотала Марина.-- Любить Пикассо ханжество! Ой-ой-ой!" Лица обеих горели, глаза пылали нешуточным блеском. Пикассо! Ван-Гог! Сублимация! Акселерация! Поль Джексон! Какой Поль Джексон? Не важно, потому что ханжество! Ханжество? Ханжество, ханжество. Нет, ты объясни тогда: что ты называешь ханжеством? Ну, все то, что делается не от сердца, а с задней мыслью, с желанием выставить себя в лучшем виде. "А-а! Значит, ты занимаешься ханжеством, когда приходишь к тете Ксене на день рождения и приносишь ей конфеты?"

Лена, поглядев на Дмитриева с улыбкой, в которой было почти торжество (я предсказывала, но ты настоял, так что получай, кушай!), сказала, что у нее с Ксенией Федоровной отношения действительно не самые лучшие, но она пришла ее поздравить не из ханжества, а потому, что просил Витя. Что-то вроде того. Дальше провал. Гости прощались. Мать спотыкалась. Тетя Женя заговорила о Левке Бубрике, зачем -- неизвестно. Она всегда хочет сделать как лучше, а получается наоборот. Мать сказала: возмутительная история, и она долго не верила, что Витя мог так поступить. "Ах, вы считаете, что во всем виновата я? А ваш Виктор был ни при чем?"-- "Виктора я не оправдываю".--"Но все-таки-- я?!" -- Щеки Лены покрывались бурным румянцем, а в лице Ксении Федоровны проступали гранитные черты.

"Да, конечно, я способна на все. Ваш Виктор хороший мальчик, я его совратила". Тетя Женя сказала, тряся благожелательной сивой головкой: "Милая Лена, вы же сами так объясняли Левочке, я очень хорошо помню".-- "Мало ли что я объясняла! Я заботилась о своем муже. И вы не имеете, не имеете..." -- "Перестань кричать!" -- "А ты предатель! Не хочу с тобой разговаривать". Схватив Наташку, рванулась из-за стола. "Почему ты всегда молчишь, когда меня оскорбляют?" И -- на лестницу, на мороз, навсегда.

Он бежал вниз, поскальзывался на обледенелых лужах. Лена и Наташка глупо прыгали от него в троллейбус, дверь замыкалась, и он не знал, куда дальше, что же будет. Не мог никуда. Когда дом разрушался, он не мог никуда, ни к кому. Нет, еще однажды после того февраля она пришла к матери -- не было выхода, Иван Васильевич лежал с инсультом, теща дни и ночи проводила с ним, а у Дмитриева и Лены горели путевки на Золотые пески -- не с кем было оставить Наташку. В Болгарии вечерами гуляли в свитерах и очень сильно любили друг друга.

Днем номер накалялся, хотя опускали шторы, вода в душе была теплая. И никогда так сильно не любили друг друга.

Дмитриев стоял перед домом и смотрел на единственное освещенное окно -- кухни. Второй этаж и левая сторона дома были темны. В это время года здесь никто не жил. В кухне что-то делала Лора. Дмитриев видел ее опущенную к столу голову, черные с сединой волосы, блестящие под электрической лампочкой, загорелый лоб -- ежегодные пять месяцев в Средней Азии сделали ее почти узбечкой. Из темноты сада он рассматривал Лору точно на светящемся экране, как чужую женщину -- видел ее немолодость, болезни, заработанные годами жизни в палатках, видел грубую тоску ее сердца, охваченного сейчас одной заботой.

Что она там делает? Гладит, что ли? Он почувствовал, что ничего не сможет ей сказать. Во всяком случае сегодня, сейчас. К черту все это! Никому это не нужно, никого не спасет, только принесет страдания и новую боль.

Потому что нет дороже родной души. Когда он поднимался по ступенькам крыльца, сердце его колотилось. Лора резала ножницами на кухонном столе газету на длинные полосы. Вошел Феликс с миской, где был разведенный клейстер. Дмитриев стал им помогать. Сначала заклеили окно на кухне, потом перешли в среднюю комнату. Мать с шести часов заснула, но скоро, наверное, проснется. Примерно около половины пятого ей сделалось плохо, начались боли. Лора очень перепугалась и хотела вызывать неотложку, но мать сказала, что бесполезно, надо звать Исидора Марковича или врача из больницы. Приняла папаверин, боли прошли. В чем дело? Мать очень подавлена. Такое внезапное ухудшение. После больницы это впервые. Она говорит, что все совершенно как в мае: боли такой же силы и в том же месте. Разговаривали вполголоса. -- Я тебе звонил в четвертом часу! -- Да, и все было хорошо. А через час... Феликс, мурлыча что-то, запихивал кухонным ножом старый нейлоновый чулок в щель между створками рам, Лора намазывала газетные полосы клейстером, а Дмитриев клеил. Потом сели пить чай. Все время прислушивались к комнате матери. Глаза у Лоры были жалкие, она отвечала невпопад, а когда Феликс зачем-то вышел из комнаты, быстро прошептала:

-- Я тебя прошу: сейчас он начнет о Куня-Ургенче, скажи, что ты решительно против... Что не можешь... Феликс вернулся с черным пакетом, в котором были фотографии. Все еще мурлыча, стал показывать. Это были цветные фотографии куня-ургенчских раскопок: черепки, верблюды, бородатые люди. Лора в брюках, в ватнике, Феликс на корточках с какими-то стариками, тоже на корточках. Феликс сказал, что в конце ноября нужно ехать. Самое позднее -- начало декабря. К пятнадцатому быть там как штык. Лора сказала, что он будет, будет, пусть не волнуется. Она его отпустит. Конечно, ехать необходимо, восемнадцать человек ждут. Собирая фотографии и засовывая их в черный пакет -- пальцы слегка дрожали, -- Феликс сказал, что Лора, к сожалению, тоже должна ехать. Потому что восемнадцать человек ждут и ее.

-- Мы же договорились: сначала едешь ты... -- Как ты себе это представляешь? Очки подпрыгивали на крупном носу Феликса, он приподнимал их каким-то особым движением щек и бровей.

-- А как ты себе все представляешь? -- Но есть Витя, по-моему, родной сын... -- Ну, хватит! Витя, Витя. Мало ли что Витя... Не сегодня это обсуждать.

Феликс спрятал пакет в карман байковой курточки, направился к двери в другую комнату, но остановился в дверях.

-- А когда прикажешь обсуждать? Надо давать телеграмму Мамедову.

Лора еще раз махнула рукой, более энергично, и Феликс исчез, тихо затворив дверь. Лора сказала, что Феликс очень хороший, любит маму, мама любит его, но он бывает туп. Редкостно туп. Лоре даже кажется иногда, что тут некоторая патология. Есть вещи, которые ему невозможно объяснить, тогда надо просто категорически сказать: так и так, и никаких! И он смиряется. Спорить он не умеет. Надо, чтобы Дмитриев твердо сказал, что не может остаться с мамой, и тогда он перестанет нудить. А как действительно Дмитриев может остаться? Взять маму к себе? Переехать на Профсоюзную? Лена не согласится ни на то, ни на другое. Феликсу, конечно, важно поехать в Куня, ей тоже важно, все верно, но что поделаешь?

В комнате Ксении Федоровны по-прежнему было тихо. Феликс взял угольное ведро и протопал через веранду вниз по лестнице, в сарай. Гремел там лопатой, набирая уголь. Дмитриев сказал, что можно, конечно, попробовать обменять две комнаты на двухкомнатную квартиру-- то, что он пытался сделать когда-то, чтоб жить вместе с мамой, но это целая история. Не так-то просто. Хотя сейчас такая возможность есть.

Не хотелось это говорить, но как-то удобно и кстати сказалось само. Лора поглядела на Дмитриева слегка удивленно. Потом спросила: -- Это идея Лены, что ли? -- Нет, моя. Старая моя идея.

-- Только не сообщай эту свою идею Феликсу, хорошо? -сказала Лора.-- Потому что он ухватится. А маме это совершенно не нужно. Когда она в таком состоянии, еще испытывать что-то... Я же знаю: сначала все будет мило, благородно, а потом начнется раздражение. Нет, это ужасная идея. Какой-то кошмар. Бр-р, я себе представила! -- И Лора передернула плечами с выражением мгновенного страха и отвращения.-- Нет уж, я буду с мамой, никуда не поеду, а Феликс как-нибудь обойдется.

Вернулся Феликс с ведром угля. Было слышно, как он тихо, чтоб не будить Ксению Федоровну, шебаршит руками в ведре, вынимая уголь по кускам, и с осторожностью кладет куски на железный лист перед печкой. Раздался легкий, со звоном, скрежет чугунной заслонки. Лора ухмыльнулась, желая что-то сказать, но промолчала.

-- Что? -- спросил Дмитриев.

-- Нет, ничего. Я, между прочим, часто удивлялась: почему вы не построите себе кооперативную квартиру? Не так уж дорого. Родственники помогут. Они же так любят внучку...-- Ее лицо улыбалось, но в глазах была злоба. Это было старое, знакомое по давним годам лицо Лоры. В детстве они часто дрались, и Лора, рассвирепев, могла ударить чем угодно, что подворачивалось: вилкой, чайником.

-- О чем вы там? -- спросил Феликс из кухни. Он почуял что-то в голосе Лоры.

-- Я говорю: почему бы Виктору и Лене не построить кооперативную квартиру? Маленькую, в две комнаты. Верно?

-- Не нужно нам никакой квартиры,-- сказал Дмитриев задыхающимся голосом.-- Не нужно, понятно тебе? Во всяком случае мне не нужно. Мне, мне! Ни черта мне не нужно, абсолютно ни черта. Кроме того, чтобы нашей матери было хорошо. Она же хотела жить со мной всегда, ты это знаешь, и если сейчас это может ей помочь...

Лора закрыла ладонями лицо. Только губы остались видны: они мучились, сжимались. Дмитриев думал с отчаяньем: "Идиот! Зачем я это говорю? Мне же действительно ничего не

нужно..." Ему хотелось броситься к сестре, обнять ее. Но он продолжал сидеть, прикованный к стулу. Феликс, стоя в дверях, с рассеянным видом смотрел то на жену, то на брата жены. Он ходил как хозяин по этим комнатам -- незнакомый коротышка в байковой курточке с накладными карманами, что-то галочье, круглое, чужое, в скрипучих домашних туфлях со стельками, -- по комнатам, где прошло детство Дмитриева. Смотрел на плачущую сестру с недоумением, как на непорядок в доме. Как на зачем-то открывшуюся дверцу буфета. Дмитриев пробормотал: -- Феликс, сгинь на минуту!

Человек в байковой курточке сгинул. Дмитриев подошел к Лоре, с неловкостью пошлепал ее по плечу: -- Ну, перестань...

Она мотала головой, не в силах ее поднять. -- Как хотите, как хотите... Если хочет -- пускай...

Ровно через минуту за дверью был голос Феликса: "Можно, друзья?" Он вошел с каким-то конвертом.

-- Сегодня, смотри вот, пришло послание от Аширки Мамедова. Бедняга спрашивает, покупать ли на нашу долю спальные мешки. Это в Чарджоу, на базе у Губера. Деньги у него есть, но надо ответить немедленно: брать или нет. Даже телеграфом.

Он мурлыкал и скрипел стелькой, стоя возле стула Лоры с конвертом в руке. В комнате Ксении Федоровны послышался шум. Дмитриев на цыпочках рванулся к двери. Сразу увидел, что у матери другое лицо.

-- Ну, ты видишь это безобразие? -- сказала Ксения Федоровна слабым голосом и попыталась привстать.

Лежавшая на одеяле книга скользнула на пол. Дмитриев нагнулся: все тот же "Доктор Фаустус" с закладкой на первой сотне страниц.

-- Я же разговаривал с тобой сегодня утром! -- сказал Дмитриев с каким-то страстным упреком, точно этот факт был крайне важен для состояния матери и всего хода болезни.

-- А как сейчас, мама? -- спросила Лора.-- Вот лекарство. И поставь градусник.

Ксения Федоровна мгновение сидела на кровати не двигаясь, с выражением отрешенно-сосредоточенным -- всеми чувствами впивалась в себя. Потом сказала:

-- А сейчас как будто бы...-- Осторожно протянула руку и взяла у Лоры чашку с водой. Немного наклонилась вперед.-- Как будто ничего. Вроде нет. Фу-ты, какая чепуха! -- Она улыбнулась и сделала Дмитриеву знак, чтобы он сел на стул рядом с кроватью.-- Все-таки ужасная гадость эта язвенная болезнь. Я возмущена, мне хочется писать протест. Требовать жалобную книгу. Только вот у кого? У господ бога, что ли?

-- Тебе удобно так лежать? -- спросила Лора.-- Придвинься сюда поближе. Сейчас поддержи градусник, а потом я принесу чай. Дай мне грелку. Лора вышла. Дмитриев сел на стул. -- Да, Витя! Хорошо, что ты приехал,-- сказала Ксения Федоровна.-- Мы с Лорой сегодня поспорили. На плитку шоколада. Ты видишь свой детский рисунок? Вон там, на подоконнике. Лорочка нашла его в зеленом шкафу. По-моему, ты рисовал это летом тридцать девятого года или в сороковом, а Лорочка говорит, что после войны. Когда тут жил, помнишь, этот, как его... ну? Неприятный такой, с восточной фамилией. Я забыла, скажи сам.

Дмитриев не помнил. Рисунка тоже не помнил. Все, что касалось его художества, было

вычеркнуто навсегда. Но мать лелеяла эти воспоминания, поэтому он сказал: да, тридцать девятый или сороковой. После войны фигурного забора уже не было, его сожгли. Ксения Федоровна спросила про командировку Дмитриева, и он сказал, что как раз сегодня решилось, что он не едет. Ксения Федоровна перестала улыбаться. -- Надеюсь, не из-за моей болезни? -- Нет, просто отложили. При чем тут твоя болезнь? -- Я не хочу, Витя, чтобы нарушались малейшие ваши дела. Потому что дело прежде всего. А как же? Все старухи болеют, такова профессия. Полежим, покряхтит, встанем на ноги, а вы теряете драгоценное время и ломаете свою работу. Нет, так не годится. Например, сейчас меня мучает...-- она понизила голос,-- Лорочка. Она же мне бессовестно врет, говорит, что в этом году ехать не обязательно, Феликс тоже мямлит, отвечает уклончиво, Но я-то знаю, что у них происходит! Зачем же они так делают. Разве я беспомощная старуха, которую нельзя оставить одну? Да ничего подобного! Конечно, могут быть ухудшения, как сегодня, даже сильные боли, я допускаю, потому что процесс идет медленно, но в принципе я же иду на поправку. И прекрасно справлюсь одна. Тетя Паша будет приходить. Ты рядом, есть телефон -- господи, какие проблемы? Есть, наконец, Маринка, есть Валерия Кузьминична, которая с удовольствием...-- Она умолкла, потому что в комнату вошла Лора с чаем.

-- Мама, не возбуждайся,-- сказала Лора.-- Пусть Витька разговаривает, а ты слушай. Что это ты так возбудилась?

-- Мама, не возбуждайся,-- сказала Лора.-- Пусть Витька разговаривает, а ты слушай. Что это ты так возбудилась?

-- Некоторые люди меня возмущают, которые говорят неправду.

-- А! Ну-ну. Дай-ка сюда градусник...-- Лора взяла градусник.-- Нормальная. Витька, не давай матери возбуждаться, слышишь. А то я тебя прогоню. И через десять минут приходи ужинать.

Когда Лора вышла, Ксения Федоровна опять зашептала о том же: как устроить так, чтобы старые люди могли спокойно болеть и у детей ничего бы не нарушалось. Как всегда, мать говорила полусерьезно, полувсерьез. Дмитриев стал потихоньку раздражаться. Зачем говорить об этом так много? Ведь пустые разговоры. Все равно ничего нельзя изменить. Потом Дмитриева позвали к телефону. Лена спрашивала, приедет ли он домой или останется ночевать в Павлинове. Был уже одиннадцатый час. Дмитриев сказал, что останется здесь. Лена велела передать Ксении Федоровне большой привет и спросила, взял ли он ключ. Он ответил: "Спокойной ночи" -- и повесил трубку.

Это касалось его одного. Он один мог решить: спрашивать ключ или нет. Часа через полтора, перед тем как ложиться спать, он улучил минуту, когда Ксения Федоровна была одна, и сказал:

-- Есть еще такой вариант: можно обменяться, поселиться с тобой в одной квартире -- тогда Лора будет независима...

-- Обменяться с тобой? -- Нет, не со мной, а с кем-то, чтобы жить со мной.

-- Ах, так? Ну, конечно, понимаю. Я очень хотела Жить с тобой и с Наташенькой...-- Ксения Федоровны помолчала.-- А сейчас -- нет.

-- Почему?

-- Не знаю. Давно уже нет такого желания. Он молчал, ошеломленный.

Ксения Федоровна смотрела на него спокойно, закрыла глаза. Было похоже, что она засыпает. Потом сказала:

-- Ты уже обменялся, Витя. Обмен произошел...-- Вновь наступило молчание. С закрытыми глазами она шептала невнятицу: -- Это было очень давно. И бывает всегда, каждый день, так что ты не удивляйся, Витя. И не сердись. Просто так незаметно...

Посидев немного, он встал и вышел на цыпочках.

Дмитриев лег спать в комнате, где когда-то жил с Леной, в первое лето. Там по-прежнему висел на стене ковер, прибитый Леной. Но красивые, зеленого цвета обои с давленным рисунком заметно выцвели и полысели. Засыпая, Дмитриев думал о старом акварельном рисунке: кусок сада, забор, крыльцо дачи и собака Нельда на крыльце. Была такая похожая на овцу собачонка. Как же Лора могла забыть, что после войны Нельды уже не было? После войны он рисовал как помешанный. Не расставался с альбомом. Особенно здорово получалось пером, тушью. Если б не провалился на экзамене и не бросился с горя в первый попавшийся, все равно какой -- химический, нефтяной, пищевой... Потом стал думать о Голышманове. Увидел комнату в бараке, где прожил в прошлом году полтора месяца. И подумал о том, что Таня была бы для него лучшей женой. Один раз он проснулся среди ночи и слышал, как в комнате за стеной Феликс и Лора разговаривают вполголоса.

Утром Дмитриев уехал рано, когда Ксения Федоровна еще спала. Он дал Лоре сто рублей. Лора сказала, что очень кстати. Позавтракали наспех, и он побежал к троллейбусу. Был темный рассвет. С деревьев в саду сбежал ночной дождь. На остановке стояли два человека, и чуть поодаль сидела на земле большая немецкая овчарка. Непонятно было, кому она принадлежит. Подошел пустой троллейбус, все влезли, после всех неожиданно впрыгнула в троллейбус овчарка. Собака была брюхата, впрыгнула тяжело и села на пол возле кассы. Двое испуганно прошли вперед, а Дмитриев остановился в нерешительности. Овчарка смотрела в окно. Ей что-то было нужно в троллейбусе. Дмитриев подумал, что водитель может завезти ее далеко и она погибнет. Ведь никому не понять, что с ней происходит и почему она в троллейбусе. На ближайшей остановке, где люди шарахнулись от двери, Дмитриев сошел, позвал: "Выходи, выходи!" -- и собака спрыгнула послушно и села на землю. А Дмитриев успел вскочить обратно. Через стекло отъезжающего троллейбуса он видел собаку, которая смотрела на него.

Ксения Федоровна позвонила через два дня Дмитриеву на работу и сказала, что согласна съезжаться, только просила, чтоб побыстрее. Началась эта волынка. Маркушевичи, конечно, отпали, потом отпало много других, потом появился мастер спорта по велосипеду, и с ним-то все совершилось в середине апреля. Ксения Федоровна была не так уж плоха. Устроили даже новоселье, пришли родственники, не было только Лоры и Феликса, которые не вернулись еще из своего Куня, где торчали, как обычно, до большой жары. Но хлопоты на этом не кончились: нужно было перевести оба лицевых счета на имя Дмитриева, что оказалось делом не менее тяжелым, чем обмен. Поначалу исполком отказал потому, что заявление было составлено неудачно и не хватало каких-то бумаг. Старичок Спиридон Самойлович, маклер, который все хвастался, что юрист райжилотдела его добрый знакомый, оказался просто луном. Юрист с ним даже не поздоровался, когда они столкнулись лицом к лицу. А этот юрист был главным винтом дела, потому что заявителей на заседание не вызывают и решение выносится лишь на основе заключения юриста и представленных документов. В конце июля Ксении Федоровне сделалось резко хуже и ее отвезли в ту же больницу, где она была почти год назад. Лена добилась вторичного разбора заявления. На этот раз юрист был настроен как нужно, и все документы были в порядке: а) документ, подтверждающий родственные отношения, то есть свидетельство о рождении Дмитриева; б) копия ордеров, выданных в свое время на право занятия жилых площадей; в) выписки из домовых книг; г) копии финансовых лицевых счетов,

выданных бухгалтерией ЖЭКа; д) выписка из протокола общественно-жилищной комиссии при ЖЭКе, в которой ОЖК просила исполком удовлетворить просьбу об объединении лицевых счетов. Ну, и на этот раз решение было благоприятное. После смерти Ксении Федоровны у Дмитриева сделался гипертонический криз, и он пролежал три недели дома в строгом постельном режиме.

Что я мог сказать Дмитриеву, когда мы встретились с ним однажды у общих знакомых, и он мне все это рассказал? Выглядел он неважно. Он как-то сразу сдал, посерел. Еще не старик, но уже пожилой, с обмякшими щечками дяденька. Я ведь помню его мальчишкой по павлиновским дачам. Тогда он был толстяком. Мы звали его "Витучный". Он младше меня года на три, и в те времена я больше дружил с Лорой, чем с ним. Дмитриевскую дачу в Павлинове, так же, как все окружающие дачи, недавно снесли и построили там стадион "Буревестник" и гостиницу для спортсменов, а Лора со своим Феликсом переехала в Зюзино, в девятиэтажный дом.

1969